

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Виктор  
Гюго

СОБОР  
ПАРИЖСКОЙ  
БОГОМАТЕРИ

«ИНОСТРАНКА»

Иностранная литература. Большие книги

Виктор Мари Гюго

**Собор Парижской Богоматери**

«Азбука-Аттикус»

1831

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

## **Гюго В.**

Собор Парижской Богоматери / В. Гюго — «Азбука-Аттикус»,  
1831 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-18733-7

Виктор Гюго – создатель романтической драмы, великолепный писатель, чьи произведения до сих пор увлекают читателей во всем мире. Романы Гюго отмечены богатством творческого воображения, сюжеты их обычно сложны, развязки эффектны, чувства героев сильны и трагичны. Обращаясь к национальной истории, автор создает убедительные картины прошлого и яркие, запоминающиеся характеры. Особенно это касается самого известного романа Виктора Гюго – «Собор Парижской Богоматери». Невозможно забыть гордую цыганку Эсмеральду, уродливого звонаря собора Нотр-Дам Квазимодо, блистательного и жестокосердного красавца Феба, терзаемого ревностью священника Фролло. Как невозможно забыть и французское Средневековье, воссозданное в романе с поразительной силой воображения! В настоящем издании текст сопровождается иллюстрациями французских художников XIX века.

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-18733-7

© Гюго В., 1831  
© Азбука-Аттикус, 1831

## Содержание

Книга первая	6
I. Большой зал	6
II. Пьер Гренгуар	16
III. Кардинал	22
IV. Мэтр Жак Копеноль	26
V. Квазимодо	33
VI. Эсмеральда	39
Книга вторая	41
I. Между Сциллой и Харибдой	41
II. Гревская площадь	43
III. Besos para golpes[19]	45
IV. Неудобства, которым подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину	51
V. Неудачи продолжают	55
VI. Разбитая кружка	57
VII. Брачная ночь	69
Книга третья	75
I. Собор Богоматери	75
II. Париж с птичьего полета	80
Конец ознакомительного фрагмента.	88

# Виктор Гюго

## Собор Парижской Богоматери

© Н. А. Коган (наследник), перевод, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020

Издательство Иностранка®

\* \* \*

Несколько лет тому назад, осматривая Собор Парижской Богоматери, или, выражаясь точнее, обследуя его, автор этой книги обнаружил в темном закоулке одной из башен следующее начертанное на стене слово:

’ΑΝΑΓΚΗ<sup>1</sup>.

Эти греческие буквы, потемневшие от времени и довольно глубоко врезанные в камень, некие свойственные готическому письму признаки, запечатленные в форме и расположении букв, как бы указывающие на то, что начертаны они были рукой человека Средневековья, и в особенности мрачный и роковой смысл, в них заключавшийся, глубоко поразили автора.

Он спрашивал себя, он старался постигнуть, чья страждущая душа не пожелала покинуть сей мир без того, чтобы не оставить на челе древней церкви этого стигмата преступлений или несчастья.

Позже эту стену (я даже точно не припомню, какую именно) не то выскоблили, не то покрасили, и надпись исчезла. Именно так в течение вот уже двухсот лет поступают с чудесными церквями Средневековья. Их увечат как угодно – и изнутри и снаружи. Священник их перекрашивает, архитектор скоблит; потом приходит народ и разрушает их.

И вот ничего не осталось ни от таинственного слова, высеченного в стене сумрачной башни собора, ни от той неведомой судьбы, которую это слово так печально обозначило, – ничего, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги им посвящает. Несколько столетий тому назад исчез из числа живых человек, начертавший на стене это слово; в свою очередь исчезло со стены собора и само слово; быть может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор.

Это слово и породило настоящую книгу.

*Март 1831*

---

<sup>1</sup> Рок (греч.).

## Книга первая

### І. Большой зал

Триста сорок восемь лет шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижане проснулись под перезвон всех колоколов, которые неистовствовали за тремя оградами Ситэ, Университетской стороны и Города. Между тем день 6 января 1482 года отнюдь не являлся датой, о которой могла бы хранить память история. Ничего примечательного не было в событии, которое с самого утра привело в такое движение и колокола, и горожан Парижа. Это не был ни штурм пикардийцев или бургундцев, ни процессия с мощами, ни бунт школяров, ни въезд «нашего грозного властелина господина короля», ни даже достойная внимания казнь воров и воровок на виселице по приговору парижской юстиции. Это не было также столь частое в XV веке прибытие какого-либо пестро разодетого и разукрашенного плюмажами иноземного посольства. Не прошло и двух дней, как последнее из них – это были фламандские послы, уполномоченные заключить брак между дофином и Маргаритой Фландрской, – вступило в Париж, к великой досаде кардинала Бурбонского, который из угождения королю должен был скрепя сердце принимать неотесанную толпу фламандских бургомистров и угощать их в своем Бурбонском дворце представлением «весьма прекрасного моралите, шуточной сатиры и фарса», пока проливной дождь заливал его роскошные ковры, разостланные у входа во дворец.

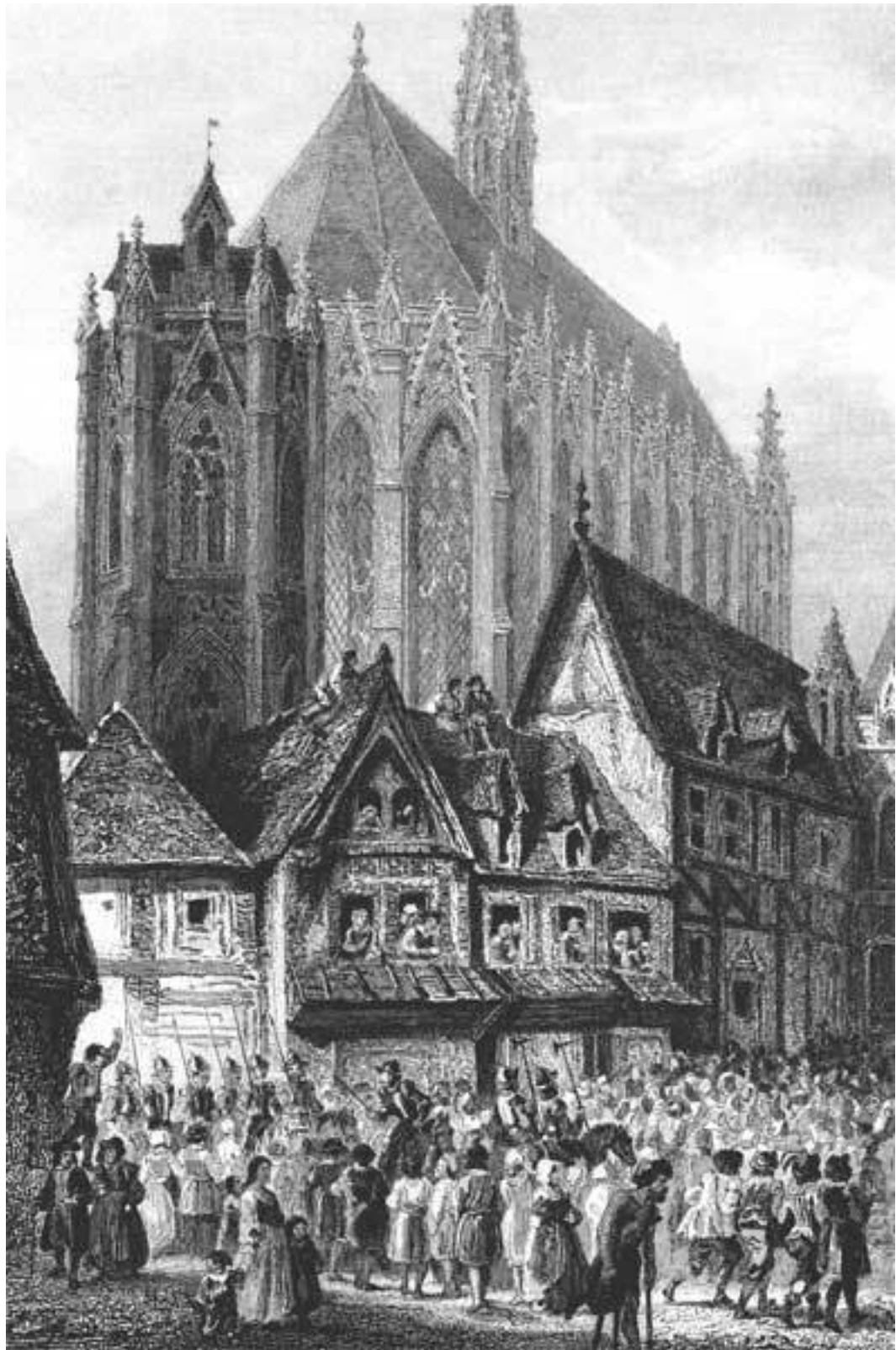
Событие, которое 6 января «взволновало всю парижскую чернь», как говорит Жан де Труа, было двойное празднество, объединившее с незапамятных времен праздник Крещения с праздником шутов.

В этот день на Гревской площади зажигались потешные огни, у Бракской часовни происходила церемония посадки майского деревца, в здании Дворца правосудия давалась мистерия. Об этом еще накануне возвестили при звуках труб на всех перекрестках глашатаи господина парижского прево, разодетые в щегольские полукафтаны из лилового камлота с большими белыми крестами на груди.

Заперев двери домов и лавок, толпы горожан и горожанок с самого утра потянулись отовсюду к упомянутым местам. Одни решили отдать предпочтение потешным огням, другие – майскому дереву, третьи – мистерии. Впрочем, к чести исконного здравого смысла парижских зевак, следует признать, что большая часть толпы направилась к потешным огням, вполне уместным в это время года, другие – смотреть мистерию в хорошо защищенном от холода зале Дворца правосудия, а бедному, жалкому, еще не расцветшему майскому деревцу все любопытные единодушно предоставили зябнуть в одиночестве под январским небом, на кладбище Бракской часовни.

Народ больше всего теснился в проходах Дворца правосудия, так как было известно, что прибывшие третьего дня фламандские послы намеревались присутствовать на представлении мистерии и на избрании папы шутов, которое также должно было состояться в большом зале дворца.

Нелегко было пробраться в этот день в большой зал, считавшийся в то время самым обширным закрытым помещением на свете. (Правда, Соваль тогда еще не обмерил громадный зал в замке Монтаржи.) Запруженная народом площадь перед Дворцом правосудия представлялась зрителям, глядевшим на нее из окон, морем, куда пять или шесть улиц, подобно устьям рек, непрерывно извергали все новые потоки людей. Непрестанно возрастая, эти людские волны разбивались об углы домов, выступавшие то тут, то там, подобно высоким мысам в неправильном водоеме площади.



Посредине высокого готического<sup>2</sup> фасада Дворца правосудия находилась главная лестница, по которой безостановочно поднимался и спускался двойной поток людей; расколовшись

---

<sup>2</sup> Слово «готический» в том смысле, в каком его обычно употребляют, совершенно неточно, но и совершенно неприкосновенно. Мы, как и все, принимаем и усваиваем его, чтобы охарактеризовать архитектурный стиль второй половины Средних веков, в основе которого лежит стрельчатый свод – преемник полукруглого свода, породившего архитектурный стиль первой

ниже, на промежуточной площадке, надвое, он широкими волнами разливался по двум боковым спускам; эта главная лестница, как бы непрерывно струясь, сбегала на площадь, подобно водопаду, низвергавшемуся в озеро. Крик, смех, топот тысячи ног производили страшный шум и гам. Время от времени этот шум и гам усиливался: течение, несшее всю эту толпу к главному крыльцу, поворачивало вспять и, крутясь, образовывало водовороты. Причиной тому были либо стрелок, давший кому-нибудь тумака, либо лягавшаяся лошадь начальника городской стражи, водворявшего порядок; эта милая традиция, завещанная парижским прево коннетаблям, перешла от коннетаблей по наследству к конной страже, а от нее – к нынешней жандармерии Парижа.

В дверях, в окнах, в слуховых оконцах, на крышах домов кишели тысячи благодушных, безмятежных и почтенных горожан, спокойно глазевших на дворец, глазевших на толпу и ничего более не желавших, ибо многие парижане довольствуются зрелищем самих зрителей, и даже стена, за которой что-либо происходит, уже представляет для них предмет, достойный любопытства.

Если бы нам, живущим в 1830 году, дано было мысленно вмешаться в толпу парижан XV века и, получая со всех сторон пинки, толчки, еле удерживаясь на ногах, проникнуть вместе с ней в этот обширный зал дворца, казавшийся в день 6 января 1482 года таким тесным, то зрелище, представившееся нашим глазам, не лишено было бы занимательности и очарования: нас окружили бы вещи столь старинные, что они для нас были бы полны новизны.

Если читатель согласен, мы попытаемся хотя бы мысленно воссоздать то впечатление, которое он испытал бы, перешагнув вместе с нами порог этого обширного зала и очутившись среди толпы, одетой в хламиды, полукафтаны и безрукавки.

Прежде всего мы были бы оглушены и ослеплены. Над нашими головами – двойной стрельчатый свод, отделанный деревянной резьбой, расписанной золотыми лилиями по лазурному полю; под ногами – пол, вымощенный белыми и черными мраморными плитами. В нескольких шагах от нас огромный столб, затем другой, третий – всего на протяжении зала семь таких столбов, служащих линией опоры для пяток двойного свода. Вокруг первых четырех столбов – лавочки торговцев, сверкающие стеклянными изделиями и мишурой; вокруг трех остальных – истертые дубовые скамьи, отполированные короткими широкими штанами судившихся и мантиями стряпчих. Кругом зала вдоль высоких стен между дверьми, между окнами, между столбами – нескончаемая вереница изваяний королей Франции, начиная с Фарамонда: королей нерадивых, опустивших руки и потупивших очи, королей доблестных и воинственных, смело подъявших чело и руки к небесам. Далее, в высоких стрельчатых окнах – тысячецветные стекла; в широких дверных нишах – богатые, тончайшей резьбы двери; и все это – своды, столбы, стены, наличники окон, панели, двери, изваяния – сверху донизу покрыто великолепной голубой с золотом раскраской, успевшей к тому времени уже слегка потускнеть и почти совсем исчезнувшей под слоем пыли и паутины в 1549 году, когда дю Брель по традиции все еще восхищался ею.

Теперь вообразите себе этот громадный продолговатый зал, освещенный сумеречным светом январского дня, наводненный пестрой и шумной толпой, которая плывет по течению вдоль стен и вертится вокруг семи столбов, и вы уже получите смутное представление обо всей той картине, любопытные подробности которой мы попытаемся обрисовать точнее.

Несомненно, если бы Равальяк не убил Генриха IV, не было бы и документов о деле Равальяка, хранившихся в канцелярии Дворца правосудия; не было бы и сообщников Равальяка, заинтересованных в исчезновении этих документов; значит, не было бы и поджигателей, которым, за неимением лучшего средства, пришлось сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь Дворец правосудия, чтобы сжечь канцелярию; следовательно, не было бы и пожара 1618

года. Все еще высился бы старинный дворец с его старинным залом, и я мог бы сказать читателю: «Пойдите полюбуйтесь на него»; мы, таким образом, были бы избавлены: я – от описания этого зала, а читатель – от чтения сего посредственного описания. Это подтверждает новую истину, что последствия великих событий неисчислимы.

Весьма возможно, впрочем, что у Равальяка никаких сообщников не было, а если случайно они у него и оказались, то могли быть совершенно непричастны к пожару 1618 года. Существуют еще два других весьма правдоподобных объяснения. Во-первых, огромная пылающая звезда, шириною в фут, длиною в локоть, свалившаяся, как всем известно, с неба 7 марта после полуночи на крышу Дворца правосудия; во-вторых, четверостишие Теофиля:

Да, шутка скверная была,  
Когда сама богиня Права,  
Съев пряных кушаний немало,  
Себе все небо обожгла<sup>3</sup>.

Но, как бы ни думать об этом тройном – политическом, метеорологическом и поэтическом – толковании, прискорбный факт пожара остается несомненным. По милости этой катастрофы, в особенности же по милости всевозможных последовательных реставраций, уничтоживших то, что пощадило пламя, немного уцелело ныне от этой первой обители королей Франции, от этого дворца, более древнего, чем Лувр, настолько древнего уже в царствование короля Филиппа Красивого, что в нем искали следов великолепных построек, воздвигнутых королем Робером и описанных Эльгальдусом.

Исчезло почти все. Что случилось с кабинетом, в котором Людовик Святой «завершил свой брак»? Где тот сад, в котором он, «одетый в камлотовую тунику, грубого сукна безрукавку и плащ, свисавший до черных сандалий», возлежал вместе с Жуанвилем на коврах, вершил правосудие? Где покои императора Сигизмунда? Карла IV? Иоанна Безземельного? Где то крыльцо, с которого Карл VI провозгласил свой милостивый эдикт? Где та плита, на которой Марсель в присутствии дофина зарезал Робера Клермонского и маршала Шампанского? Где та калитка, возле которой были изорваны буллы антипапы Бенедикта и откуда, облаченные на посмешище в ризы и митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа, выехали обратно те, кто привез эти буллы? Где большой зал, его позолота, его лазурь, его стрельчатые арки, статуи, каменные столбы, его необъятный свод, весь в скульптурных украшениях? А вызолоченный покой, у входа в который стоял коленапреклоненный каменный лев с опущенной головой и поджатым хвостом, подобно львам Соломонова трона, в позе смирения, как то приличествует грубой силе перед лицом правосудия? Где великолепные двери, великолепные высокие окна? Где все чеканные работы, при виде которых опускались руки у Бискорнета? Где тончайшая резьба дю Ганси?.. Что сделало время, что сделали люди со всеми этими чудесами? Что получили мы взамен всего этого, взамен этой истории галлов, взамен этого искусства готики? Тяжелые полукруглые низкие своды господина де Броса, сего неуклюжего строителя портала Сен-Жерве, – это взамен искусства; что же касается истории, то у нас сохранились лишь многословные воспоминания о центральном столбе, которые еще донныне отдаются эхом в болтовне всевозможных господ Патрю.

Но все это не так уж важно. Обратимся к подлинному залу подлинного древнего дворца.

Один конец этого гигантского параллелограмма был занят знаменитым мраморным столом такой длины, ширины и толщины, что, если верить старинным описаниям, стиль которых мог возбудить аппетит у Гаргантюа, «подобного ломтя мрамора никогда не было видано на свете»; противоположный конец занимала часовня, где стояла изваянная по приказанию Людовика XI

---

<sup>3</sup> Игра слов: *épice* – по-французски и пряности и взятка, *palais* – и небо и дворец.

статуя, изображающая его коленапреклоненным перед Пречистой Девой, и куда он, невзирая на то что две ниши в ряду королевских изваяний остаются пустыми, приказал перенести статуи Карла Великого и Людовика Святого – двух святых, которые в качестве королей Франции, по его мнению, имели большое влияние на небесах. Эта часовня, еще новая, построенная всего только лет шесть тому назад, была создана в изысканном вкусе того очаровательного, с великолепной скульптурой и тонкими чеканными работами зодчества, которое отмечает у нас конец готической эры и удерживается вплоть до середины XVI века в волшебных архитектурных фантазиях Возрождения.

Небольшая сквозная розетка, вделанная над порталом, по филигранности и изяществу работы представляла собой настоящий образец искусства. Она казалась кружевной звездой.

Посреди зала, напротив главных дверей, было устроено прилежавшее к стене возвышение, обтянутое золотой парчой, с отдельным входом через окно, пробитое в этой стене из коридора, смежного с вызолоченным покоем. Предназначалось оно для фламандских послов и для других знатных особ, приглашенных на представление мистерии.

По издавна установившейся традиции представление мистерии должно было состояться на знаменитом мраморном столе. С самого утра он уже был для этого приготовлен. На его великолепной мраморной плите, вдоль и поперек исцарапанной каблуками судебных писцов, стояла довольно высокая деревянная клетка, верхняя плоскость которой, доступная взорам всего зрительного зала, должна была служить сценой, а внутренняя часть, задрапированная коврами, – одеваальной для лицедеев. Бесхитростно приставленная снаружи лестница должна была соединять сцену с одеваальной и предоставлять свои крутые ступеньки и для выхода актеров на сцену, и для ухода их за кулисы. Таким образом, любое неожиданное появление актера, перипетии действия, сценические эффекты – ничто не могло миновать этой лестницы. О невинное и достойное уважения детство искусства и механики!

Четыре судебных пристава дворца, неперемные надзиратели за всеми народными увеселениями как в дни празднеств, так и в дни казней, стояли на карауле по четырем углам мраморного стола.

Представление мистерии должно было начаться только в полдень, с двенадцатым ударом больших стенных дворцовых часов. Несомненно, для театрального представления это было несколько позднее время, но оно было удобно для послов.

Тем не менее вся многочисленная толпа народа дождалась представления с самого утра. Добрая половина этих простодушных зевак с рассвета дрогла перед большим крыльцом дворца; иные даже утверждали, будто они провели всю ночь, лежа поперек главного входа, чтобы первыми попасть в залу. Толпа росла непрерывно и, подобно водам, выступающим из берегов, постепенно вздымалась вдоль стен, вздувалась вокруг столбов, заливала карнизы, подоконники, все архитектурные выступы, все выпуклости скульптурных украшений. Немудрено, что давка, нетерпение, скука, дозволенные в этот день, зубоскальство и озорство, возникающие по всякому пустяку ссоры, будь то соседство слишком острого локтя или подбитого гвоздями башмака, усталость от долгого ожидания – все вместе взятое еще задолго до прибытия послов придавало ропоту этой запертой, стиснутой, сдавленной, задыхающейся толпы едкий и горький привкус. Только и слышно было что проклятия и сетования по адресу фламандцев, купеческого старшины, кардинала Бурбонского, главного судьи дворца, Маргариты Австрийской, стражи с плетями, стужи, жары, скверной погоды, епископа Парижского, папы шутов, каменных столбов, статуй, этой закрытой двери, того открытого окна – и все это к несказанной потехе рассеянных в толпе школяров и слуг, которые подзадоривали общее недовольство своими острыми словечками и шуточками, еще больше возбуждая этими булавочными уколами общее недовольство.

Среди них отличалась группа веселых сорванцов, которые, выдавив предварительно стекла в окне, бесстрашно расселись на карнизе и оттуда бросали свои лукавые взгляды и заме-

чания попеременно то в толпу, находящуюся в зале, то в толпу на площади. Судя по тому, как они передразнивали окружающих, по их оглушительному хохоту, по насмешливым окликакам, которыми они обменивались с товарищами через весь зал, видно было, что эти школяры далеко не разделяли скуки и усталости остальной части публики, превращая для собственного удовольствия все, что попадалось им на глаза, в зрелище, помогавшее им терпеливо переносить ожидание.

– Клянусь душой, это вы там, *Жоаннес Фролло де Молендино!* – кричал один из них другому, белокурому бесенку с хорошенькой лукавой рожицей, примостившемуся на акантах капители. – Недаром вам дали прозвище Жан Мельник, ваши руки и ноги и впрямь походят на четыре крыла ветряной мельницы. Давно вы здесь?

– По милости дьявола, – ответил Жоаннес Фролло, – я торчу здесь уже больше четырех часов, надеюсь, они зачтутся мне в чистилище! Еще в семь утра я слышал, как восемь певчих короля сицилийского пропели у ранней обедни в Сент-Шапель «Достойную».

– Прекрасные певчие! – ответил собеседник. – Голоса у них тоньше, чем острие их колпаков. Однако, перед тем как служить обедню господину святому Иоанну, королю следовало бы осведомиться, приятно ли господину Иоанну слушать эту гнусавую латынь с провансальским акцентом.

– Он заказал обедню, чтобы дать заработать этим проклятым певчим сицилийского короля! – злобно крикнула какая-то старуха из теснившейся под окнами толпы. – Скажите на милость! Тысячу парижских ливров за одну обедню! Да еще из налога за право продавать морскую рыбу в Париже!

– Помолчи, старуха! – вмешался какой-то важный толстяк, все время зажимавший себе нос из-за близкого соседства с рыбной торговкой. – Обедню надо было отслужить. Или вы хотите, чтобы король опять захворал?

– Ловко сказано, господин Жиль Лекорню<sup>4</sup>, придворный меховщик! – крикнул ухватившийся за капитель маленький школяр.

Оглушительный взрыв хохота приветствовал злополучное имя придворного меховщика.

– Лекорню! Жиль Лекорню! – орали одни.

– *Cornutus et hirsutus!*<sup>5</sup> – вторили другие.

– Чего это они гогочут? – продолжал маленький чертенок, примостившийся на капители. – Ну да, почтеннейший Жиль Лекорню, брат Жюана Лекорню, дворцового судьи, сын мэтра Майе Лекорню, главного смотрителя Венсенского леса; все они граждане Парижа, и все до единого женаты.

Толпа совсем развеселилась. Толстый меховщик молча пытался ускользнуть от устремленных на него со всех сторон взглядов, но тщетно он пыхтел и потел. Как загоняемый в дерево клин, он, силясь выбраться из толпы, достигал лишь того, что его широкое апоплексическое, побагровевшее от досады и гнева лицо только плотнее втискивалось между плеч соседей.

Наконец один из них, такой же важный, коренастый и толстый, пришел ему на выручку:

– Какая мерзость! Как смеют школяры так издеваться над почтенным горожанином? В мое время их за это отстегали бы прутьями, а потом сожгли бы на костре из этих самых прутьев.

Банда школяров расхохоталась.

– Эй! Кто это там ухаает? Какой зловещий филин?

– Стой-ка, я его знаю, – сказал один, – это мэтр Андри Мюнье.

– Один из четырех присяжных библиотекарей Университета, – подхватил другой.

---

<sup>4</sup> *Лекорню* – по-французски произносится так же, как *le cornu*, что означает «рогатый».

<sup>5</sup> Рогатый и косматый (*лат.*).

– В этой лавчонке всякого добра по четыре штуки, – крикнул третий, – четыре нации, четыре факультета, четыре праздника, четыре эконома, четыре попечителя и четыре библиотекаря.

– Отлично, – продолжал Жеан Фролло, – пусть же и побеснуются вчетверо больше!

– Мюнье, мы сожжем твои книги!

– Мюнье, мы вздуем твоего слугу!

– Мюнье, мы потискаем твою жену!

– Славная толстушка госпожа Ударда!

– А как свежа и весела, точно уже овдовела!

– Черт бы вас побрал! – прорычал мэтр Андри Мюнье.

– Замолчи, мэтр Андри, – не унимался Жеан, все еще продолжавший цепляться за свою капитель, – а то я свалюсь тебе на голову!

Мэтр Андри посмотрел вверх, как бы определяя взглядом высоту столба и вес плута, помножил в уме этот вес на квадрат скорости и умолк.

Жеан, оставшись победителем, злорадно заметил:

– Я бы непременно так и сделал, хотя и прихожусь братом архидьякону.

– Хорошо тоже наше университетское начальство! Даже в такой день, как сегодня, ничем не отметило наших привилегий! В Городе потешные огни и майское дерево, здесь, в Ситэ, мистерия, избрание папы шутов и фламандские послы, а у нас в Университете – ничего.

– Между тем на площади Мобер хватило бы места! – сказал один из школяров, устроившихся на подоконнике.

– Долой ректора, попечителей и экономов! – крикнул Жеан.

– Сегодня вечером следовало бы устроить иллюминацию в Шан-Гальяр из книг мэтра Андри, – продолжал другой.

– И сжечь пульты писарей! – крикнул его сосед.

– И трости педелей!

– И плевательницы деканов!

– И буфеты экономов!

– И хлебные лари попечителей!

– И скамеечки ректора!

– Долой! – пропел им в тон Жеан. – Долой мэтра Андри, педелей, писарей, медиков, богословов, законников, попечителей, экономов и ректора!

– Да это просто светопреставление! – возмутился мэтр Андри, затыкая себе уши.

– А наш ректор легок на помине! Вон он появился на площади! – крикнул один из сидевших на подоконнике.

Кто только мог повернулся к окну.

– Неужели это в самом деле наш достопочтенный ректор, мэтр Тибо? – спросил Жеан Фролло Мельник. Повиснув на одном из внутренних столбов, он не мог видеть того, что происходило на площади.

– Да, да, – ответили ему остальные, – он самый, мэтр Тибо, ректор!

Действительно, это был ректор и все университетские сановники, пересекавшие в эту минуту площадь Дворца и торжественно направлявшиеся навстречу послам. Школяры, тесно облепившие подоконник, приветствовали шествие язвительными насмешками и ироническими рукоплесканиями. Ректору, который шел впереди, пришлось выдержать первый залп, и залп этот был жесток.

– Добрый день, господин ректор! Эй! Здравствуйте же!

– Каким образом очутился здесь этот старый игрок? Как он расстался со своими костяшками?

– Смотрите, как он трусит на своем муле! А уши у мула короче ректорских!

– Эй! Добрый день, господин ректор Тибо! *Tybalde aleator!*<sup>6</sup> Старый дурак! Старый игрок!  
– Да хранит вас Бог! Ну как, сегодня ночью вам часто выпадало двенадцать очков?  
– Поглядите только, какая у него серая, испитая и помятая рожа! Это все от страсти к игре и костям!

– Куда это вы трусите, Тибо, *Tybalde ad dados!*<sup>7</sup>, задом к Университету и передом к Городу?  
– Он едет снимать квартиру на улице Тиботодэ<sup>8</sup>, – воскликнул Жеан Мельник.

Вся компания школяров громовыми голосами, бешено аплодируя, повторила этот каламбур:

– Вы едете искать квартиру на улице Тиботодэ, не правда ли, господин ректор, партнер дьявола?

Затем наступила очередь прочих университетских сановников.

– Долой педелей! Долой жезлоносцев!

– Скажи, Робен Пуспен, а это кто такой?

– Это Жильбер Сюльи, *Gilbertus de Soliaco*, казначей Отенского коллежа.

– Стой, вот мой башмак; тебе там удобнее, запусти-ка ему в рожу!

– *Saturnalitas mittimus esse nuces!*<sup>9</sup>

– Долой шестерых богословов и белые стихари!

– Как, разве это богословы? А я думал, это шесть белых гусей, которых святая Женевьева отдала городу за поместье Роньи!

– Долой медиков!

– Долой диспуты на заданные и на свободные темы!

– Швырну-ка я в тебя шапкой, казначей святой Женевьевы! Ты меня объегорил! Это чистая правда! Он отдал мое место в нормандском землячестве маленькому Асканию Фальцаспаде из провинции Бурж, а ведь тот итальянец.

– Это несправедливо! – закричали школяры. – Долой казначея святой Женевьевы!

– Эй! Иоахим де Ладор! Эй! Лук Даюиль! Эй! Ламбер Октеман!

– Чтоб черт придушил попечителя немецкой корпорации!

– И капелланов из Сент-Шапель вместе с их серыми меховыми плащами.

– *Seu ded pellibus grisis fourratis!*

– Эй! Магистры искусств! Вон они, черные мантии! Вон они, красные мантии!

– Получается недурной хвост позади ректора!

– Точно у венецианского дожа, отправляющегося обручаться с морем.

– Гляди, Жеан, вон каноники святой Женевьевы.

– К черту чернецов!

– Аббат Клод Коар! Доктор Клод Коар! Кого вы ищете? Марию Жифард?

– Она живет на улице Глатиньи.

– Она греет постели зрителя публичных домов.

– Она выплачивает ему свои четыре денье – *quattuor denarios*.

– *Aut unum bombum*.

– Вы хотите сказать – с каждого носа?

– Товарищи, вон мэтр Симон Санен, попечитель Пикардии, а позади него сидит жена!

– *Post equitem sedet atra cura!*<sup>10</sup>

– Смелее, мэтр Симон!

---

<sup>6</sup> Тибо – игрок в кости (лат.).

<sup>7</sup> Тибо с игральными костями (лат.).

<sup>8</sup> Тиботодэ – по-французски произносится так же, как *Thibaut aux dés*, что означает «Тибо с игральными костями».

<sup>9</sup> Вот тебе орешки на праздник (лат.).

<sup>10</sup> За всадником сидит мрачная забота (лат.).

– Добрый день, господин попечитель!

– Покойной ночи, госпожа попечительша!

– Экие счастливицы, им все видно, – вздыхая, промолвил все еще продолжавший цепляться за листья капители *Жоаннес де Молендино*.

Между тем присяжный библиотекарь Университета, мэтр Андри Мюнье, прошептал на ухо придворному меховщику, Жилю Лекорню:

– Уверяю вас, сударь, что это светопреставление. Никогда еще среди школяров не наблюдалось такой распущенности, и все это наделали проклятые изобретения: пушки, кулеврины, бомбарды, а главное, книгопечатание, эта новая германская чума. Нет уж более рукописных сочинений и книг. Печать убивает книжную торговлю. Наступают последние времена.

– Это заметно и по тому, как стала процветать торговля бархатом, – ответил меховщик.

В эту секунду пробило двенадцать.

– А-а! – одним вздохом ответила толпа.

Школяры притихли. Затем поднялась невероятная сумятица, зашаркали ноги, задвигались головы; послышалось общее оглушительное сморканье и кашель; всякий прилачился, приломился, приподнялся. И вот наступила полная тишина: все шеи были вытянуты, все рты полуоткрыты, все взгляды устремлены на мраморный стол. Но ничего нового на нем не появилось. Там по-прежнему стояли четыре судебных пристава, застывшие и неподвижные, словно раскрашенные статуи. Тогда все глаза обратились к возвышению, предназначенному для фламандских послов. Дверь была все так же закрыта, на возвышении – никого. Собравшаяся с утра толпа ждала полудня, послов Фландрии и мистерии. Своевременно явился только полдень. Это уже было слишком!

Подождали еще одну, две, три, пять минут, четверть часа; никто не появлялся. Помост пустовал, сцена безмолвствовала.

Нетерпение толпы сменилось гневом. Слышались возгласы возмущения, правда еще негромкие. «Мистерию! Мистерию!» – раздавался приглушенный ропот. Возбуждение возрастало. Гроза, дававшая о себе знать пока лишь громовыми раскатами, уже веяла над толпой. Жан Мельник был первым, вызвавшим вспышку молнии.

– Мистерию, и к черту фламандцев! – крикнул он во всю глотку, обвившись, словно змея, вокруг своей капители.

Толпа принялась рукоплескать.

– Мистерию, мистерию! А Фландрию ко всем чертям! – повторила толпа.

– Подать мистерию, и немедленно! – продолжал школяр. – А то, пожалуй, придется нам для развлечения и в назидание повесить главного судью.

– Дельно сказано, – закричала толпа, – а для начала повесим его стражу!

Поднялся невообразимый шум. Четыре несчастных пристава побледнели и переглянулись. Народ двинулся на них, и им уже чудилось, что под его напором прогибается и поддается хрупкая деревянная балюстрада, отделявшая их от зрителей. То была опасная минута.

– Вздернуть их! Вздернуть! – кричали со всех сторон.

В это мгновение приподнялся ковер описанной нами выше одеальной и пропустил человека, одно появление которого внезапно усмирило толпу и, точно по мановению волшебного жезла, превратило ее ярость в любопытство.

– Тише! Тише! – раздались отовсюду голоса.

Человек этот, дрожа всем телом, отвешивал бесчисленные поклоны, неуверенно двинулся к краю мраморного стола, и с каждым шагом эти поклоны становились все более похожими на коленопреклонения.

Мало-помалу водворилась тишина. Слышался лишь тот еле уловимый гул, который всегда стоит над молчащей толпой.

– Господа горожане и госпожи горожанки, – сказал вошедший, – нам предстоит высокая честь декламировать и представлять в присутствии его высокопреосвященства господина кардинала превосходное моралите под названием «Праведный суд Пречистой Девы Марии». Я буду изображать Юпитера. Его преосвященство сопровождает в настоящую минуту почетное посольство герцога Австрийского, которое несколько замешкалось, выслушивая у ворот Боду приветственную речь господина ректора Университета. Как только его святейшество господин кардинал прибудет, мы тотчас же начнем.

Нет сомнения, что только вмешательство самого Юпитера помогло спасти от смерти четырех несчастных приставов. Если бы нам выпало счастье самим выдумать эту вполне достоверную историю, а значит, и быть ответственными за ее содержание перед судом преподобной нашей матери-критики, то во всяком случае против нас нельзя было бы выдвинуть классического правила: *Nec Deus intersit*<sup>11</sup>. Надо сказать, что одеяние господина Юпитера было очень красиво и также немало способствовало успокоению толпы, привлекая к себе ее внимание. Он был одет в кольчугу, обтянутую черным бархатом с золотой вышивкой; голову его прикрывала двухконечная шляпа с пуговицами позолоченного серебра; и не будь его лицо частью намянуто, частью покрыто густой бородой, не держи он в руках усыпанной мишурой и обмотанной канителью трубки позолоченного картона, в которой искусный глаз легко мог признать молнию, не будь его ноги обтянуты в трико телесного цвета и на греческий манер обвиты лентами, – этот Юпитер по своей суровой осанке мог бы легко выдержать сравнение с любым бретонским стрелком из отряда герцога Беррийского.

---

<sup>11</sup> И Бог пусть не вмешивается (*лат.*).

## II. Пьер Гренгуар

Однако, пока он держал свою торжественную речь, всеобщее удовольствие и восхищение, возбужденные его костюмом, постепенно рассеивались, а когда он пришел к злополучному заключению: «Как только его святейшество господин кардинал прибудет, мы тотчас же начнем», его голос затерялся в буре гиканья и свиста.

– Немедленно начинайте мистерию! Мистерию немедленно! – кричала толпа. И среди всех голосов отчетливо выделялся голос Жоаннеса де Молендино, прорезавший общий гул, подобно дудке на карнавале в Ниме.

– Начинайте сию же минуту! – визжал школяр.

– Долой Юпитера и кардинала Бурбонского! – вопил Робен Пуспен и прочие школяры, угнездившиеся на подоконнике.

– Давайте моралите! – вторила толпа. – Сейчас же, сию минуту, а не то мешок и веревка для комедиантов и кардинала!

Несчастный Юпитер, ошеломленный, испуганный, побледневший под слоем румян, уронил свою молнию, сняв шляпу, поклонился и, дрожа от страха, пролепетал:

– Его высокопреосвященство, послы... госпожа Маргарита Фландрская...

Он не знал, что сказать. В глубине души он опасался, что его повесят.

Его повесит толпа, если он ее заставит ждать, его повесит кардинал, если он его не дождетя; куда ни повернись, перед ним разверзалась пропасть, то есть виселица.

К счастью, какой-то человек пришел ему на выручку и принял всю ответственность на себя.

Этот незнакомец стоял по ту сторону балюстрады, в пространстве, остававшемся свободным вокруг мраморного стола, и до сей поры не был никем примечен благодаря тому, что его долговязая и тощая особа не могла попасть ни в чье поле зрения, будучи заслонена массивным каменным столбом, к которому он прислонялся. Это был высокий, худой, бледный, белокурый и еще молодой человек, хотя щеки и лоб его уже бороздили морщины; его черный саржевый камзол потерялся и залоснился от времени. Сверкая глазами и улыбаясь, он приблизился к мраморному столу и сделал рукой знак несчастному страдальцу. Но тот, растерявшись, ничего не видел.

Новоприбывший сделал шаг вперед.

– Юпитер! – сказал он. – Милейший Юпитер!

Но тот не слышал его.

Тогда, потеряв терпение, высокий блондин крикнул ему чуть ли не в самое ухо:

– Мишель Жиборн!

– Кто меня зовет? – как бы внезапно пробудившись от сна, спросил Юпитер.

– Я, – ответил незнакомец в черном.

– А! – произнес Юпитер.

– Начинайте сейчас же! – продолжал тот. – Удовлетворите желание народа. Я берусь умилоствить господина судью, а тот в свою очередь умилоствит господина кардинала.

Юпитер облегченно вздохнул.

– Всемиловейшие господа горожане, – крикнул он во весь голос толпе, все еще продолжавшей его освистывать, – мы сейчас начнем!

– Evoe, Jupiter! Plaudite, cives!<sup>12</sup> – закричали школяры.

– Слава! Слава! – закричала толпа. Раздался оглушительный взрыв рукоплесканий, и даже после того, как Юпитер ушел за занавес, зал все еще дрожал от приветственных криков.

---

<sup>12</sup> Ликуй, Юпитер! Рукоплещите, граждане! (лат.)

Тем временем незнакомец, столь магически превративший «бурю в штиль», как говорит наш милый старик Корнель, скромно отступил в полумрак своего каменного столба и, несомненно, по-прежнему остался бы там невидим, недвижим и безмолвен, не окликни его две молодые женщины, сидевшие в первом ряду зрителей и приметившие его беседу с Мишелем Жиборном – Юпитером.

– Мэтр! – позвала его одна из них, делая ему знак приблизиться.

– Потише, милая Лиенарда, – сказала ее соседка, хорошенькая, цветущая, по-праздничному расфранченная девушка, – он не духовное лицо, а светское; к нему следует обращаться не «мэтр», а «мессир».

– Мессир! – повторила Лиенарда.

Незнакомец приблизился к балюстраде.

– Что угодно, сударыни? – учтиво спросил он.

– О, ничего! – смутившись, ответила Лиенарда. – Это моя соседка, Жискета ла Жансьен, хочет вам что-то сказать.

– Да нет же, – зардевшись, возразила Жискета. – Лиенарда окликнула вас «мэтр», а я поправила ее, объяснив, что вас следует назвать «мессир».

Молодые девушки потупили глазки. Незнакомец, который не прочь был завязать беседу, улыбаясь, глядел на них.

– Итак, вам нечего мне сказать, сударыни?

– О нет, решительно нечего, – ответила Жискета.

– Нечего, – повторила и Лиенарда.

Высокий молодой блондин намеревался было уйти, но две любопытные девушки не желали так легко выпустить свою добычу из рук.

– Мессир, – со стремительностью воды, врывающейся в открытый шлюз, или женщины, принявшей твердое решение, быстро обратилась к нему Жискета, – вам, значит, знаком этот военный, который будет играть роль Пречистой Девы в мистерии?

– Вы желаете сказать – роль Юпитера? – спросил незнакомец.

– О да! – воскликнула Лиенарда. – Какая она дурочка! Вы, значит, знакомы с Юпитером?

– С Мишелем Жиборном? Да, знаком, сударыня.

– Какая у него замечательная борода! – сказала Лиенарда.

– А то, что они сейчас будут представлять, красиво? – застенчиво спросила Жискета.

– Великолепно, сударыня, – без малейшей запинки ответил незнакомец.

– Что же это будет? – спросила Лиенарда.

– «Праведный суд Пречистой Девы Марии» – моралите, сударыня.

– А! Это другое дело, – сказала Лиенарда.

Последовало краткое молчание. Незнакомый прервал его:

– Это совершенно новое моралите, его еще ни разу не представляли.

– Значит, это не то, которое играли два года тому назад в день прибытия папского посла, когда три хорошенькие девушки изображали...

– Сирен, – подсказала Лиенарда.

– И совершенно обнаженных, – добавил молодой человек.

Лиенарда стыдливо опустила глазки. Жискета, взглянув на нее, последовала ее примеру. Незнакомец, улыбаясь, продолжал:

– То было очень занятное зрелище. А нынче будут представлять моралите, написанное нарочно в честь принцессы Фландрской.

– А будут петь пасторали? – спросила Жискета.

– Фи! – сказал незнакомец. – В моралите? Не нужно смешивать различные жанры. Будь это шуточная пьеса, тогда сколько угодно!

– Жаль, – проговорила Жискета. – А в тот день мужчины и женщины вокруг фонтана Понсо разыгрывали дикарей, они сражались между собой и принимали разные позы, когда пели пасторали и мотеты.

– То, что годится для папского посла, не годится для принцессы, – сухо заметил незнакомец.

– А около них, – продолжала Лиенарда, – было устроено состязание на всяких духовых инструментах, которые исполняли возвышенные мелодии.

– А чтобы гуляющие могли освежиться, – подхватила Жискета, – из трех отверстий фонтана били вино, молоко и сладкая настойка. Пил, кто только хотел.

– А не доходя фонтана Понсо, близ церкви Святой Троицы, – продолжала Лиенарда, – показывали пантомиму «Страсти Господни».

– Отлично помню! – воскликнула Жискета. – Господь Бог на кресте, а справа и слева два разбойника.

Тут молодые болтушки, разгоряченные воспоминаниями о дне прибытия папского посла, затрещали наперебой:

– А немного подальше, близ ворот Живописцев, были еще какие-то нарядно одетые особы.

– А помнишь, как охотник около фонтана Непорочных под оглушительный шум охотничьих рогов и лай собак гнался за козочкой?

– А у парижской бойни были устроены подмостки, которые изображали Дьепскую крепость!

– И помнишь, Жискета, едва папский посол проехал, как эту крепость взяли приступом и всем англичанам перерезали глотки.

– У ворот Шатле тоже были прекрасные актеры!

– И на мосту Менял, который к тому же был весь обтянут коврами!

– А как только посол проехал, то с моста выпустили в воздух более двухсот дюжин всевозможных птиц. Как это было красиво, Лиенарда!

– Сегодня будет еще лучше! – перебил их наконец нетерпеливо внимавший им собеседник.

– Вы ручаетесь, что это будет прекрасная мистерия? – спросила Жискета.

– Несомненно, – ответил он, потом добавил несколько напыщенно: – Я автор этой мистерии, сударыни!

– В самом деле? – воскликнули изумленные девушки.

– В самом деле, – слегка приосаниваясь, ответил поэт, – то есть нас двое: Жеан Маршан, который напилил досок и сколотил театральные подмостки, и я, который написал пьесу. Мое имя – Пьер Гренгуар.

Едва ли сам автор «Сида» с большей гордостью произнес бы: «Пьер Корнель».

Читатели могли заметить, что с той минуты, как Юпитер скрылся за ковром, и до того мгновения, как автор нового моралите столь неожиданно разоблачил себя, к наивному восхищению Жискеты и Лиенарды, прошло немало времени. Примечательный факт: вся эта возбужденная толпа теперь благодушно ожидала начала представления, положившись на слова комедианта. Вот новое доказательство той вечной истины, которая и донине всякий день подтверждается в наших театрах: лучший способ заставить публику терпеливо ожидать начала представления – это уверить ее, что спектакль начнется незамедлительно.

Однако школяр Жеан не дремал.

– Эй! – закричал он среди всеобщего спокойного ожидания, сменившего прежнюю сумятицу. – Юпитер! Госпожа Богородица! Чертовы фигляры! Вы что же, издеваетесь над нами, что ли? Пьесу! Пьесу! Начинайте, не то мы начнем сами!

Этой угрозы было достаточно.

Из глубины деревянного сооружения послышались звуки высоких и низких музыкальных инструментов; ковер откинулся. Из-за ковра появились четыре нарумяненные, пестро одетые фигуры. Вскрабкавшись по крутой театральной лестнице на верхнюю площадку, они выстроились перед зрителями в ряд и отвесили по низкому поклону; оркестр умолк. Мистерия началась.

Вознагражденные щедрыми рукоплесканиями за свои поклоны, четыре персонажа пьесы среди воцарившегося благоговейного молчания начали декламировать пролог, от которого мы охотно избавляем читателя. К тому же, как нередко бывает и в наши дни, публику больше развлекали костюмы действующих лиц, чем исполняемые ими роли; и это было справедливо. Все четверо были одеты в наполовину желтые, наполовину белые костюмы, отличавшиеся один от другого лишь качеством ткани: одежда первого была сшита из золотой и серебряной парчи, одежда второго – из шелка, третьего – из шерсти, четвертого – из полотна. Первый в правой руке держал шпагу, второй – два золотых ключа, третий – весы, четвертый – заступ. А чтобы помочь тем тугодумам, которые, несмотря на всю ясность этих атрибутов, не доискались бы их смысла, на подоле парчового одеяния большими черными буквами было вышито: «Я – дворянство», на подоле шелкового – «Я – духовенство», на подоле шерстяного – «Я – купечество» и на подоле льняного – «Я – крестьянство». Каждый внимательный зритель мог без труда различить среди них две аллегорические фигуры мужского пола – по более короткому платью и по островерхим шапочкам и две женского пола – по длинным платьям и капюшонам на голове.

Лишь очень неблагоприятно настроенный человек не понял бы за поэтическим языком пролога того, что Крестьянство состояло в браке с Купечеством, а Духовенство – с Дворянством и что обе счастливые четы сообща владели великолепным золотым дельфином<sup>13</sup>, которого решили присудить красивейшей женщине мира. Итак, они отправились странствовать по свету, разыскивая эту красавицу. Отвергнув королеву Голконды, принцессу Трапезундскую, дочь великого хана татарского и прочих, Крестьянство, Духовенство, Дворянство и Купечество пришли отдохнуть на мраморном столе Дворца правосудия, выкладывая почтенной аудитории такое количество сенсаций, афоризмов, софизмов, определений и поэтических фигур, сколько их полагалось на экзаменах факультета словесных наук при получении звания лиценциата.

Все это было действительно великолепно! Однако ни у кого во всей толпе, на которую четыре аллегорические фигуры взапуски изливали потоки метафор, не было столь внимательного уха, столь трепетного сердца, столь напряженного взгляда, такой вытянутой шеи, как глаз, ухо, шея и сердце автора, поэта, нашего славного Пьера Гренгуара, который несколько минут тому назад не мог устоять перед тем, чтобы не назвать свое имя двум хорошеньким девушкам. Он отошел и стал на свое прежнее место за каменным столбом, в нескольких шагах от них; он внимал, он глядел, он упивался. Отзвук благосклонных рукоплесканий, которыми встретили начало его пролога, еще продолжал звучать у него в ушах, и весь он погрузился в то блаженное созерцательное состояние, в каком автор внимает актеру, с чьих уст одна за другой слетают его мысли среди тишины многочисленной аудитории. О достойный Пьер Гренгуар!

Хотя нам и грустно в этом сознаться, но блаженство этих первых минут было вскоре нарушено. Едва Пьер Гренгуар пригубил опьяняющую чашу восторга и торжества, как в нее примешалась капля горечи.

Какой-то оборванный нищий, настолько затертый в толпе, что это мешало ему просить милостыню, и не нашедший, по-видимому, достаточного возмещения за понесенный им убыток в карманах соседей, вздумал взобраться на местечко повиднее, желая привлечь к себе и взгляды, и подавания. Едва лишь послышались первые стихи пролога, как он, вскрабкавшись по столбам возвышения, приготовленного для послгов, влез на карниз, окаймлявший нижнюю

<sup>13</sup> Игра слов: по-французски *dauphin* – дельфин и дофин (наследник престола).

часть балюстрады, и примостился там, словно взывая своими лохмотьями и отвратительной раной на правой руке к вниманию и жалости зрителей. Впрочем, он не произносил ни слова.

Покуда он молчал, действие пролога развивалось беспрепятственно, и никакого ощутимого беспорядка не произошло бы, если б, на беду, школяр Жан с высоты своего столба не заметил нищего и его гримас. Безумный смех разобрал молодого повесу, и он, не заботясь о том, что прерывает представление и нарушает всеобщую сосредоточенность, задорно крикнул:

– Поглядите-ка на этого хиляка! Он просит милостыню!

Тот, кому случалось бросить камень в болото с лягушками или выстрелом из ружья вспугнуть стаю птиц, легко вообразит себе, какое впечатление вызвали эти неуместные слова среди аудитории, внимательно следившей за представлением. Гренгуар вздрогнул, словно его ударило электрическим током. Пролог оборвался на полуслове, и все головы повернулись к нищему, а тот, несколько не смутившись и видя в этом происшествии лишь подходящий случай собрать жатву, полужакрыв глаза и со скорбным видом затынул:

– Подайте Христа ради!

– Вот тебе раз! – продолжал Жан. – Да ведь это Клопен Труйльфу, клянусь душой! Эй, приятель! Должно быть, твоя рана на ноге здорово тебе мешала, если ты ее перенес на руку?

И тут же он с обезьяньей ловкостью швырнул мелкую серебряную монету в засаленную шапку нищего, которую тот держал в своей больной руке. Не сморгнув, нищий принял и подачку и издевку и продолжал жалобным тоном:

– Подайте Христа ради!

Это происшествие сильно развлекло зрителей; добрая половина их, во главе с Робеном Пуспеном и всеми школярами, принялась весело рукоплескать этому своеобразному дуэту, исполняемому в середине пролога крикливым голосом школяра и невозмутимо-монотонным напевом нищего.

Гренгуар был очень недоволен. Оправившись от изумления, он, даже не удостоив презрительным взглядом двух нарушителей тишины, изо всех сил закричал актерам:

– Продолжайте, черт возьми! Продолжайте!

В эту минуту он почувствовал, что кто-то потянул его за полу камзола. Досадливо обернувшись, он едва мог заставить себя улыбнуться. А нельзя было не улыбнуться. Это Жискета ла Жансьен, просунув свою хорошенькую ручку сквозь решетку балюстрады, старалась таким способом привлечь его внимание.

– Сударь, – спросила молодая девушка, – а разве они будут продолжать?

– Конечно, – весьма обиженный подобным вопросом, ответил Гренгуар.

– В таком случае, мессир, – попросила она, – будьте столь любезны, объясните мне...

– То, что они будут говорить? – прервал ее Гренгуар. – Извольте. Итак...

– Да нет же, – сказала Жискета, – объясните мне, что они говорили до сих пор.

Гренгуар подскочил, подобно человеку, у которого задела открытую рану.

– Черт побери эту тупоголовую дуру! – пробормотал он сквозь зубы.

С этой минуты Жискета сильно потеряла в его мнении.

Между тем актеры вняли его настояниям, и публика, увидев, что они стали декламировать, принялась их слушать, хотя вследствие происшествия, столь неожиданно разделившего пролог на две части, она упустила множество красот пьесы. Гренгуар с горечью думал об этом. Все же мало-помалу воцарилась тишина, школяр умолк, нищий пересчитывал монеты в своей шапке, и пьеса пошла своим чередом.

В сущности, это было великолепное произведение, и мы находим, что с некоторыми поправками им можно при желании воспользоваться и в наши дни. Фабула его, несколько растянутая и бессодержательная, что было в порядке вещей в те времена, отличалась простотой, и Гренгуар в глубине души чистосердечно восхищался ее ясностью. Само собой разумеется, что четыре аллегорических персонажа, не найдя возможности приличным образом

отделаться от своего золотого дельфина, слегка утомились, объехав три части света. Затем следовало похвальное слово чудо-рыбе, заключающее в себе тысячу деликатных намеков на юного жениха Маргариты Фландрской, который тогда скучал один в своем Амбуазском замке, нимало не подозревая, что Крестьянство и Духовенство, Дворянство и Купечество ради него объездили весь свет. Итак, упомянутый дельфин был молод, был прекрасен, был могуч, а главное (вот чудесный источник всех королевских добродетелей!), он был сыном льва Франции. Я утверждаю, что эта смелая метафора очаровательна и что в день, посвященный аллегориям и эпиграммам в честь королевского бракосочетания, естественная история, процветающая на театральных подмостках, нисколько не бывает смущена тем, что лев породил дельфина. Столь редкостное и высокопарное сравнение свидетельствует лишь о поэтическом восторге. При всем том, с точки зрения критики, следует отметить, что поэту для развития этой великолепной мысли двухсот стихов было многовато. Правда, по распоряжению господина прево мистерии надлежало длиться с полудня до четырех часов, и надо же было актерам что-то говорить. Впрочем, толпа слушала терпеливо.

Внезапно в самый разгар ссоры между барышней Купечеством и госпожой Дворянством, в то время когда дядюшка Крестьянство произносил следующие изумительные стихи:

Нет, царственной его не видывали зверя, —

дверь почетного возвышения, до сих пор остававшаяся так некстати закрытой, еще более некстати распахнулась и звучный голос привратника провозгласил:

– Его высокопреосвященство монсеньор кардинал Бурбонский.

### III. Кардинал

Бедный Гренгуар! Треск огромных двойных петард в Иванов день, залп двадцати крепостных аркебуз, выстрел знаменитой кулеврины на башне Бильи, из которой в воскресенье 29 сентября 1465 года, во время осады Парижа, было убито одним ударом семь бургундцев, взрыв порохового склада у ворот Тампль – все это не столь сильно оглушило бы его в такую торжественную и драматическую минуту, как эта короткая фраза привратника: «Его высокопреосвященство монсеньор кардинал Бурбонский!»

И отнюдь не потому, что Пьер Гренгуар боялся или презирал монсеньора кардинала. Он не был подвержен ни подобному малодушию, ни подобному высокомерию. Истинный эклектик, как выражаются ныне, Гренгуар принадлежал к числу тех возвышенных и твердых, уравновешенных и спокойных духом людей, которые умеют во всем придерживаться золотой середины, *stare in dimidio regum*, всегда здраво рассуждают и склонны к либеральной философии, отдавая в то же время должное кардиналам. Эта ценная, никогда не вымирающая порода философов, казалось, получила от мудрости, сей новой Ариадны, клубок нитей, который, разматываясь, ведет их от Сотворения мира сквозь лабиринт всех дел человеческих. Они существуют во все времена и эпохи и всегда одинаковы, то есть всегда соответствуют своему времени. Оставив в стороне нашего Пьера Гренгуара, который, если бы нам удалось дать его истинный образ, был бы их представителем в XV веке, мы должны сказать, что именно их дух вдохновлял отца дю Бреля, когда он в XVI столетии писал следующие божественно-наивные, достойные перейти из века в век строки: «Я парижанин по рождению и „паризианин“ по манере говорить, ибо „parthisia“ по-гречески означает „свобода слова“, коей я и докучал даже монсеньорам кардиналам, дяде и брату монсеньора принца Конти, но всегда с полным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, а это уже немалая заслуга».

Итак, в том неприятном впечатлении, которое произвело на Пьера Гренгуара появление кардинала, не было ни личной ненависти к кардиналу, ни пренебрежения к его присутствию. Напротив, наш поэт, обладая слишком большой дозой здравого смысла и слишком изношенным камзолом, придавал особое значение тому, чтобы его намеки в прологе, особенно же похвалы, расточаемые в нем по адресу дофина, сына льва Франции, дошли до святейшего слуха. Но отнюдь не корысть преобладает в благородной натуре поэтов. Я полагаю, что если сущность поэта может быть обозначена числом десять, то какой-нибудь химик, анализируя и фармакополизируя ее, как выражается Рабле, вероятно, нашел бы в ней одну десятую корыстолюбия на девять десятых самолюбия. В ту минуту, когда двери распахнулись, пропуская кардинала, эти девять десятых самолюбия Гренгуара, распухнув и вздувшись под действием народного восхищения, достигли таких удивительных размеров, что совершенно придушили собой ту неприметную молекулу корыстолюбия, которую мы только что обнаружили в натуре поэтов. Впрочем, молекула эта весьма драгоценна, так как она представляет собой тот балласт реальности и человеческой природы, без которого поэты не могли бы коснуться земли. Гренгуар наслаждался, ощущая, наблюдая и, так сказать, осязая все это сборище, состоящее, правда, из бездельников, но зато оцепеневших от изумления, словно захлебнувшихся в потоках нескончаемых тирад, которые всякую минуту изливались из каждой части его эпиталамы. Я утверждаю, что Гренгуар разделял всеобщий восторг и, в противоположность Лафонтену, который на представлении своей комедии «Флорентинец» спросил: «Что за невежда сочинил эти бредни?» – наш поэт охотно осведомился бы у соседа: «Кем написан этот шедевр?» И потому легко представить себе то действие, какое на него должно было произвести внезапное и несвоевременное появление кардинала.

Опасения Гренгуара оправдались полностью. Прибытие его высокопреосвященства взбудоражило аудиторию. Все головы повернулись к возвышению. Поднялся оглушительный шум. «Кардинал! Кардинал!» – повторяли тысячи уст. Злополучный пролог был прерван вторично.

Кардинал помедлил минуту у ступенек, ведущих на возвышение. Пока он окидывал довольно равнодушным взором толпу, всеобщее возбуждение усилилось. Каждому хотелось разглядеть кардинала. Каждый старался поднять голову выше плеча соседа.

Воистину это было высокопоставленное лицо, созерцание которого стоило любых прочих зрелищ. Карл, кардинал Бурбонский, архиепископ и граф Лионский, примас Галльский, был одновременно связан родственными узами с Людовиком XI через своего брата Пьера, сеньора Божё, женатого на старшей дочери короля, и с Карлом Смелым через свою мать Агнессу Бургундскую. Отличительными, коренными чертами характера примаса Галльского были гибкость царедворца и раболепие перед властью имущими. Легко вообразить себе те многочисленные затруднения, которые ему доставляло это двойное родство, и все те подводные камни светской жизни, между которыми его умственный челн вынужден был лавировать, дабы не разбиться, налетев на Людовика или на Карла – этих Сциллу и Харибду, уже поглотивших герцога Немурского и коннетабля Сен-Поля. Милостью Неба кардинал сумел благополучно разделаться с этим путешествием и беспрепятственно достигнуть Рима, то есть кардинальской мантии. Но хотя он и находился в гавани, или, точнее говоря, именно потому, что он находился в гавани, он не мог спокойно вспоминать о превратностях своей долгой политической карьеры, исполненной тревог и трудов. И он часто повторял, что 1476 год был для него «черным и белым», подразумевая под этим, что в один и тот же год он лишился матери, герцогини Бурбонской, и своего двоюродного брата, герцога Бургундского, и что одна утрата смягчила для него горечь другой.

Впрочем, он был человек добродушный, вел веселую жизнь, охотно попивал вино из королевских виноградников Шальо, благосклонно относился к Ришарде де Гармуаз и к Томасе ла Сальярд, охотнее подавал милостыню хорошеньким девушкам, нежели старухам, и за все это был любим простонародьем Парижа. Обычно он появлялся в сопровождении целого штата знатных епископов и аббатов, любезных, веселых, всегда согласных покутить; и не раз почтенные прихожанки Сен-Жермен д'Озэр, проходя вечером мимо ярко освещенных окон Бурбонского дворца, возмущались, слыша, как те же самые голоса, которые только что служили вечерню, теперь под звон бокалов тянули «*Vibamus papaliter*»<sup>14</sup>, вакхическую песню папы Бенедикта XII, прибавившего третью корону к тиаре.

Вероятно, благодаря именно этой популярности, вполне им заслуженной, кардинал при своем появлении избежал враждебного приема со стороны шумной толпы, выражавшей такое недовольство всего лишь несколько минут назад и весьма мало расположенной отдавать дань уважения кардиналу в тот самый день, когда ей предстояло избрать папу. Но парижане – народ незлопамятный; к тому же, самовольно заставив начать представление, добрые горожане сочли, что они как бы восторжествовали над кардиналом, и были вполне удовлетворены. Вдобавок ко всему кардинал Бурбонский был красавец-мужчина в великолепной пурпурной мантии, которую он умел носить с большим изяществом, а это значило, что все женщины, иначе говоря, добрая половина зала, были на его стороне. Ведь несправедливо и бестактно ошибаться кардинала только за то, что он опоздал и этим задержал начало спектакля, когда он красавец-мужчина и с таким изяществом носит свою пурпурную мантию!

Итак, кардинал вошел, улыбнулся присутствующим той унаследованной от своих предшественников улыбкой, которою сильные мира сего приветствуют толпу, и медленно направился к своему креслу, обитому алым бархатом, размышляя, по-видимому, о чем-то совершенно постороннем. Сопровождавший его кортеж епископов и аббатов, или, как сказали бы

<sup>14</sup> Будем пить, как папа (*лат.*).

теперь, его генеральный штаб, вторгся за ним на возвышение, усилив еще больше шум и любопытство толпы. Всякий хотел указать, назвать, дать понять, что знает хоть одного из них: кто – Алоде, епископа Марсельского, если ему не изменяет память; кто – настоятеля аббатства Сен-Дени; кто – Робера де Леспинаса, аббата Сен-Жермен-де-Пре, этого распутного брата фаворитки Людовика XI; при этом возникало много путаницы и шумных споров. Что же касается школяров, то они сквернословили. Это был их день, их шутовской праздник, их сатурналии, ежегодная оргия корпораций писцов и школяров. Любая непристойность считалась сегодня законной и священной. А к тому же в толпе находились такие шальные бабенки, как Симона Четыре Фунта, Агнесса Треска, Розина Козлоногая. Как же не посквернословить в свое удовольствие и не побогохульствовать в такой день, как сегодня, и в такой честной компании, как духовные особы и веселые девицы? И они не зевали; среди всеобщего гама звучал ужасающий концерт ругательств, непристойностей, исполняемый школярами и писцами, распустившими языки, которые в течение всего года сдерживались страхом перед раскаленным железом святого Людовика. Бедный святой Людовик! Как они глумились над ним в его собственном Дворце правосудия! Среди вновь появившихся на возвышении духовных особ каждый школяр намечал себе жертву – черную, серую, белую или лиловую рясу. Что до Жеана Фролло де Молендино, то он, как брат архидьякона, избрал себе мишенью красную мантию и дерзко напал на нее. Устремив на кардинала бесстыжие глаза, он орал что есть мочи:

– *Sarra repleta mero!*<sup>15</sup>

Все эти выкрики, которые мы приводим здесь без прикрас в назидание читателю, настолько заглушались всеобщим шумом, что тонули в нем, не достигнув парадного помоста. Впрочем, всякого рода вольности в этот день настолько вошли в обычай, что мало трогали кардинала. К тому же у него была иная забота, и это ясно отражалось на его лице, – эта забота преследовала его по пятам и почти одновременно с ним взошла на помост: то было фламандское посольство.

Кардинал не был дальновидным политиком; его мало беспокоили последствия брака его кузины Маргариты Бургундской и его кузена Карла, дофина Вьенского; его весьма мало тревожило и то, как долго продлится столь непрочное «доброе согласие» между герцогом Австрийским и королем Франции и как отнесется король Англии к пренебрежению, которое выказали его дочери. Он каждый вечер спокойно попивал королевское вино из виноградников Шальо, нимало не подозревая, что несколько бутылок этого вина (правда, чуть-чуть разбавленного и подправленного доктором Куактье), радушно предложенные Эдуарду IV Людовиком XI, в одно прекрасное утро избавят Людовика XI от Эдуарда IV. «Достопочтенное посольство господина герцога Австрийского» не причиняло кардиналу ни одной из вышеупомянутых забот, но тяготило его в ином отношении. И в самом деле, было все же тяжело, как мы упомянули об этом уже выше, ему, Карлу Бурбонскому, быть принужденным чествовать каких-то мещан; ему, кардиналу, – любезничать с какими-то старшинами; ему, французу, веселому сотрапезнику на пирах, – угощать каких-то фламандцев, пивохлёбов; и все это проделывать на людях! Несомненно, это была одна из самых отвратительных личин, какую ему когда-либо приходилось надевать на себя в угоду королю.

Но едва лишь привратник звучным голосом провозгласил: «Господа послы герцога Австрийского», он с самым любезным видом (насколько он изучил это искусство) повернулся к входной двери. Нечего и говорить, что его примеру последовали все остальные.

Тогда попарно, со степенной важностью, представлявшей разительный контраст с оживлением церковной свиты Карла Бурбонского, появились сорок восемь посланников Максимилиана Австрийского, возглавляемые преподобным отцом Иоанном, аббатом Сен-Бертенским,

<sup>15</sup> Ряса, напитанная вином! (*лат.*)

канцлером ордена Золотого Руна, и Иаковом де Гуа, съёром Доби, верховным судьей города Гента.

В зале воцарилась глубокая тишина, лишь изредка прерываемая заглушенным смехом, когда привратник, коверкая и путая, выкрикивал странные имена и гражданские звания, невозмутимо сообщаемые ему каждым из новоприбывших фламандцев. Тут были: мэтр Лоис Рёлоф, городской старшина Лувена, мессир Клане Этюэльд, старшина Брюсселя, мессир Пауль Баёст, съёр Вуармизель, представитель Фландрии, мэтр Жан Колегенс, бургомистр Антверпена, мэтр Георг де ла Мер, первый старшина города Гента, мэтр Гельдольф ван дер Хаге, старшина землевладельцев того же города, и съёр Бирбек, и Жан Пиннок, и Жан Димерзель и т. д. – судьи, старшины, бургомистры; бургомистры, старшины, судьи – все, как один, важные, неповоротливые, чопорные, разряженные в бархат и штоф, в черных бархатных шапочках, украшенных кистями из золотых кипрских нитей. Однако у всех у них были славные фламандские лица, исполненные строгости и достоинства, родственные тем, чьи сильные тяжелые черты выступают на темном фоне «Ночного дозора» Рембрандта. Это были люди, всем своим видом как бы подтверждавшие правоту Максимилиана Австрийского, положившегося «всецело», как сказано было в его манифесте, на их «здравый смысл, мужество, опытность, честность и предусмотрительность».

За исключением, впрочем, одного. У этого было тонкое, умное, лукавое лицо – мордочка обезьяны и дипломата одновременно. Кардинал сделал три шага к нему навстречу и, несмотря на то что тот носил негромкое имя «Гильом Рим, советник и первый сановник города Гента», низко ему поклонился.

Лишь немногим было известно тогда, что представлял собою Гильом Рим. Человек редкого ума, способный в революционную эпоху оказаться на гребне событий и блестяще проявить себя, он в XV веке обречен был на подпольные интриги и, как выразился герцог Сен-Симон, «на существование в подкопах». Тем не менее он был оценен самым выдающимся «подкопных дел мастером» Европы: он интриговал заодно с Людовиком XI и нередко прилагал руку к секретным делам короля. Но ничего не подозревала толпа, изумленная необычайным вниманием кардинала к этому невзрачному фламандскому советнику.

## IV. Мэтр Жак Копеноль

Когда первый сановник города Гента и его высокопреосвященство, отвешивая друг другу глубокие поклоны, обменивались произносимыми вполголоса любезностями, какой-то человек высокого роста, широколицый и широкоплечий, выступил вперед, намереваясь войти вместе с Гильомом Римом; он напоминал бульдога в паре с лисой. Его войлочная шляпа и кожаная куртка казались грязным пятном среди окружающих его шелка и бархата. Полагая, что это какой-нибудь случайно затесавшийся сюда конюх, привратник преградил ему дорогу.

– Эй, приятель! Сюда нельзя!

Человек в кожаной куртке оттолкнул его плечом.

– Чего этому болвану от меня нужно? – спросил он таким громким голосом, что весь зал обратил внимание на этот странный разговор. – Ты что, не видишь, кто я такой?

– Ваше имя? – спросил привратник.

– Жак Копеноль.

– Ваше звание?

– Чулочник в Генте, владелец лавки под вывеской «Три цепочки».

Привратник попятился. Докладывать о старшинах, о бургомистрах еще куда ни шло, но о чулочнике – это уж чересчур! Кардинал был словно на иголках. Толпа прислушивалась и глазела. Целых два дня его преосвященство старался, как только мог, обтесать этих фламандских бирюков, чтобы они имели более представительный вид, и вдруг эта грубая, резкая выходка. Между тем Гильом Рим приблизился к привратнику и с тонкой улыбкой еле слышно шепнул ему:

– Доложите: мэтр Жак Копеноль, секретарь совета старшин города Гента.

– Привратник, – повторил кардинал громким голосом, – доложите: мэтр Жак Копеноль, секретарь совета старшин славного города Гента.

Это была оплошность. Гильом Рим, действуя самостоятельно, сумел бы уладить дело, но Копеноль услышал слова кардинала.

– Нет, крест честной! – громовым голосом воскликнул он. – Жак Копеноль, чулочник! Слышишь, привратник? Ни больше ни меньше! Чулочник! Чем это плохо? Сам господин эрцгерцог не раз прикладывал перчатку к моим чулкам.

Раздался взрыв хохота и рукоплесканий. Парижане умеют сразу понять шутку и оценить ее по достоинству.

Добавьте к тому же, что Копеноль был простолюдин, как и те, что его окружали. Поэтому сближение между ними установилось быстро, молниеносно и совершенно естественно. Высокомерная выходка фламандского чулочника, унизившего придворных вельмож, пробудила в этих простых душах чувство собственного достоинства, столь смутное и неопределенное в XV веке. Он был им ровня, этот чулочник, дающий отпор кардиналу, – сладостное утешение для бедняг, приученных с уважением подчиняться даже слуге судебного пристава, подчиненного судье, в свою очередь подчиненного настоятелю аббатства Святой Женевиевы – шлейфосцу кардинала.

Копеноль гордо поклонился его высокопреосвященству, и тот вежливо отдал поклон всемогущему горожанину, внушавшему страх даже Людовику XI. Гильом Рим, «человек пронизывательный и лукавый», как отзывался о нем Филипп де Комин, насмешливо и с чувством превосходства следил, как они отправлялись на свои места – кардинал смущенный и озабоченный, Копеноль спокойный и надменный. Последний, конечно, размышлял о том, что, в конце концов, звание чулочника ничем не хуже любого иного и что Мария Бургундская, мать той самой Маргариты, которую он, Копеноль, сейчас выдавал замуж, гораздо менее опасалась бы его, будь он кардиналом, а не чулочником. Ведь не кардинал взбунтовал жителей Гента против фавори-

тов дочери Карла Смелого; не кардинал несколькими словами вооружил толпу против слез и молений принцессы Фландрской, явившейся к самому подножию эшафота с просьбой к своему народу пощадить ее любимцев. А торговец чулками только поднял свою руку в кожаном нарукавнике, и ваши головы, сиятельные сеньоры Гюи д'Эмберкур и канцлер Гильом Гугоне, слетели с плеч!

Однако неприятности многострадального кардинала еще не кончились, и ему пришлось до дна испить чашу горечи, попав в столь дурное общество.

Читатель, быть может, не забыл еще нахального нищего, который, едва только начался пролог, вскарабкался на карниз кардинальского помоста. Прибытие именитых гостей отнюдь не заставило его покинуть свой пост, и в то время как прелаты и послы набились в места, отведенные им на возвышении, точно настоящие фламандские сельди в бочонок, он устроился поудобнее и спокойно скрестил ноги на архитраве. То была неслыханная дерзость, но в первую минуту никто не заметил этого, так как все были заняты другим. Казалось, нищий тоже не замечал происходящего в зале и беспечно, как истый неаполитанец, покачивая головой среди всеобщего шума, тянул по привычке: «Сотворите милостыню!»

Нет сомнения, что только он один из всего собрания не соблаговолил повернуть голову к препиравшимся привратнику и Копенюлю. Но случаю было угодно, чтобы достойный чулочник города Гента, к которому толпа почувствовала такое расположение и на которого устремлены были все взоры, сел в первом ряду на помосте, как раз над тем местом, где приютился нищий. Каково же было всеобщее изумление, когда фламандский посол, пристально взглянув на этого пройдоху, расположившегося возле него, дружески хлопнул его по прикрытому рубищем плечу. Нищий обернулся; оба удивились, узнали друг друга, и их физиономии просияли; затем, нимало не заботясь о зрителях, чулочник и нищий принялись перешептываться, держась за руки, причем лохмотья Клопена Труйльфу, раскинутые на золотистой парче возвышения, напоминали гусеницу на апельсине.

Необычность этой странной сцены вызвала такой взрыв безудержного веселья и оживления среди публики, что кардинал не замедлил обратить на это внимание. Слегка наклонившись и лишь смутно различая со своего места омерзительное одеяние Труйльфу, он решил, что нищий просит милостыню, и, возмущенный такой наглостью, воскликнул:

– Господин старший судья, бросьте-ка этого негодяя в реку!

– Крест честной! Высокочтимый господин кардинал, – не выпуская руки Клопена, сказал Копенюль, – да ведь это мой приятель.

– Слава! Слава! – заревела толпа. И с этой минуты мэтр Копенюль в Париже, как и в Генте, «снискал великое доверие народа, ибо люди такого склада, – говорит Филипп де Комин, – обычно им пользуются, когда ведут себя столь бесчинно».

Кардинал закусил губу. Наклонившись к своему соседу, настоятелю аббатства Святой Женеьевы, он проговорил вполголоса:

– Станных, однако, послов отправил к нам эрцгерцог, чтобы возвестить о прибытии принцессы Маргариты.

– Вы слишком любезны с этими фламандскими свиньями, ваше высокопреосвященство. *Margaritas ante porcos*<sup>16</sup>.

– Но это скорее *porcos ante Margaritam*<sup>17</sup>, – ответил, улыбаясь, кардинал.

Свита в сутанах пришла в восторг от этого каламбура. Кардинал почувствовал себя несколько утешенным: он сквитался с Копенюлем – его каламбур имел неменьший успех.

---

<sup>16</sup> Не мечите жемчуга (бисера) перед свиньями (*лат.*).

<sup>17</sup> Свиней перед жемчугом (*лат.*). Игра слов: *Margarita* – по-латыни жемчужина; *Marguerite* – по-французски и Маргарита, и жемчужина.

Теперь позволим себе задать вопрос тем из наших читателей, которые, как ныне принято говорить, одарены способностью обобщать образы и идеи: вполне ли отчетливо они представляют себе зрелище, которое являет собой в эту минуту обширный параллелограмм большого зала Дворца правосудия? Посреди зала, у западной стены, широкий и роскошный помост, обтянутый золотой парчой, куда через маленькую стрельчатую дверку одна за другой выходят важные особы, имена которых пронзительным голосом торжественно выкликает привратник. На передних скамьях уже разместилось множество почтенных фигур, закутанных в горностаи, бархат и пурпур. Вокруг этого возвышения, где царят тишина и благоприличие, под ним, перед ним, всюду – невероятная давка и невероятный шум. Тысячи взглядов устремлены на каждого сидящего на возвышении, тысячи уст шепчут каждое имя. Поистине это зрелище отменно любопытное и вполне заслуживающее внимания зрителей. Но там, в конце зала, что означает это подобие подмостков, на которых извиваются восемь раскрашенных марионеток – четыре наверху и четыре внизу? И кто же этот бледный человек в черном потертом камзоле, что стоит возле подмостков? Увы, дорогой читатель, это Пьер Гренгуар и его пролог!

Мы о нем совершенно позабыли!

А именно этого-то он и опасался.

С той минуты, как появился кардинал, Гренгуар не переставал хлопотать о спасении своего пролога. Прежде всего он приказал замолкшим было исполнителям продолжать и говорить погромче; затем, видя, что их никто не слушает, он остановил их и в течение перерыва, длившегося около четверти часа, не переставал топтать ногами, бесноваться, звать к Жискете и Лиенарде, подстрекать своих соседей, чтобы те требовали продолжения пролога; но все было тщетно. Никто не сводил глаз с кардинала, послов и возвышения, где, как в фокусе, скрещивались взгляды всего огромного кольца зрителей. Кроме того, надо думать – и мы упоминаем об этом с прискорбием, – что пролог стал уже несколько надоедать слушателям, когда его высокопреосвященство кардинал своим появлением столь безжалостно прервал его. Наконец, на помосте, обтянутом золотой парчой, разыгрывался тот же спектакль, что и на мраморном столе, – борьба между Крестьянством и Духовенством, Дворянством и Купечеством. И большинство зрителей предпочитало видеть их запросто, в действии, подлинных, дышащих, толкающихся, облеченных в плоть и кровь, среди фламандского посольства и епископского двора, в мантии кардинала или куртке Копеноля, нежели под видом раскрашенных, выфранченных, изъясняющихся стихами и похожих на соломенные чучела актеров в белых и желтых туниках, которые напялил на них Гренгуар.



Впрочем, когда наш поэт заметил, что шум несколько утих, он придумал хитрость, которая могла бы спасти положение.

– Сударь, – обратился он к своему соседу, добродушному толстяку, лицо которого выражало терпение, – а не начать ли сначала?

– Что начать? – спросил сосед.

– Да мистерию, – ответил Гренгуар.

– Как вам будет угодно, – согласился сосед.

Этого полуодобрения оказалось достаточно для Гренгуара, и он, взяв на себя дальнейшие заботы, замешавшись поглубже в толпу, изо всех сил принялся кричать: «Начинайте сначала мистерию, начинайте сначала!»

– Черт возьми, – сказал Жоаннес де Молендино, – что это они там распевают в конце зала? (Гренгуар шумел и орал за четверых.) Послушайте, друзья, разве мистерия не окончилась? Они хотят начать ее сначала! Это несправедливо!

– Несправедливо! Несправедливо! – завопили школяры. – Долой мистерию! Долой!

Но Гренгуар, надрываясь, кричал еще сильнее: «Начинайте! Начинайте!»

Наконец эти крики привлекли внимание кардинала.

– Господин старший судья, – обратился он к стоявшему в нескольких шагах от него высокому человеку в черном, – чего эти бездельники подняли такой вой, словно бесы перед заутреней?

Дворцовый судья был чем-то вроде чиновника-амфибии, какой-то разновидностью летучей мыши в судейском сословии; он одновременно был похож на крысу и на птицу, на судью и на солдата.

Он приблизился к его преосвященству и, хотя сильно боялся вызвать его неудовольствие, все же, заикаясь, объяснил причину непристойного поведения толпы: полдень пожаловал до прибытия его высокопреосвященства, и актеры были вынуждены начать представление, не дождавшись его высокопреосвященства.

Кардинал расхохотался.

– Клянусь честью, – воскликнул он, – ректору Университета следовало поступить точно так же! Как вы полагаете, мэтр Гильом Рим?

– Монсеньор, – ответил Гильом Рим, – удовольствуемся тем, что нас избавили от половины представления. Мы, во всяком случае, в выигрыше.

– Дозволит ли ваше высокопреосвященство этим бездельникам продолжать свою комедию? – спросил судья.

– Продолжайте, продолжайте, – ответил кардинал, – мне все равно. Я тем временем почи- таю требник.

Судья подошел к краю помоста и, водворив движением руки тишину, провозгласил:

– Горожане, селяне и парижане, желая удовлетворить как тех, кто требует, чтобы представление начали с самого начала, так и тех, кто требует, чтобы его прекратили, его высокопреосвященство приказывает продолжать.

Обе стороны принуждены были покориться. Но и автор, и зрители еще долго хранили в душе обиду на кардинала.

Итак, персонажи на сцене вновь принялись за свои разглагольствования, и Гренгуар стал уповать, что хоть конец его произведения будет выслушан. Но и эта надежда не замедлила обмануть его, как и другие его мечты. В аудитории действительно установилась более или менее сносная тишина, но Гренгуар не заметил, что в ту минуту, когда кардинал дозволил продолжать представление, места на возвышении были далеко еще не все заняты и что вслед за фламандскими гостями появились другие участники торжественной процессии, чьи имена и звания, возвещаемые монотонным голосом привратника, врезались в его диалог, внося изрядную путаницу. И в самом деле, вообразите себе, что во время представления визгливый голос привратника вставляет между двумя стихами, а нередко и между двумя полустихиями такие отступления:

– Мэтр Жак Шармолу, королевский прокурор в духовном суде!

– Жан де Гарле, дворянин, исполняющий должность начальника ночной стражи города Парижа!

– Мессир Галио де Женуалак, рыцарь сеньор де Брюсак, начальник королевской артиллерии!

– Мэтр Дре-Рагье, инспектор королевских лесов, вод и французских земель Шампани и Бри!

– Мессир Луи де Гравиль, рыцарь, советник и камергер короля, адмирал Франции, хранитель Венсенского леса!

– Мэтр Дени де Мерсье, смотритель убежища для слепых в Париже! – И т. д. и т. д.  
Это становилось нестерпимым.

Столь странный аккомпанемент, мешавший следить за ходом действия, тем сильнее возмущал Гренгуара, что интерес зрителей к пьесе должен был, как ему казалось, все возрастать; его произведению недоставало лишь одного – внимания слушателей. И действительно, трудно вообразить себе более замысловатое и драматическое сплетение. В то время когда четыре героя пролога скорбели о своем столь затруднительном положении, вдруг перед ними предстала сама Венера, *vera incessu patuit dea*<sup>18</sup>, одетая в прелестную тунику, на которой был вышит корабль – герб города Парижа. Она явилась требовать дофина, обещанного прекраснейшей женщине в мире. Юпитер, грома которого грохочут в одеваальной, поддерживает требование богини, и она уже готова увести дофина за собой, то есть попросту выйти за него замуж, как вдруг юная девушка в белом шелковом платье с маргариткой в руке (прозрачный намек на Маргариту Фландрскую) явилась оспаривать победу Венеры. Внезапная перемена и осложнение. После долгих пререканий Венера, Маргарита и прочие решают обратиться к суду Пречистой Девы. В пьесе была еще одна прекрасная роль – Дона Педро, короля Месопотамии, но из-за бесчисленных перерывов весьма трудно было уразуметь, на что он там был нужен. Все эти действующие лица взбирались на сцену по приставной лестнице.

Но все было напрасно, ни одна из красот пьесы никем не была понята и оценена. Казалось, с той минуты, как прибыл кардинал, какая-то невидимая волшебная нить внезапно притянула все взоры от мраморного стола к возвышению, от южного конца зала к западному. Ничто не могло разрушить чары, овладевшие аудиторией. Все глаза были устремлены туда; вновь прибывающие гости, их проклятые имена, их физиономии, одежда непрестанно отвлекали зрителей. Это было нестерпимо! За исключением Жискеты и Лиенарды, которые время от времени, когда Гренгуар дергал их за рукав, оборачивались к сцене, да терпеливого толстяка-соседа никто не слушал, никто не смотрел злополучное, всеми покинутое моралите. Гренгуар со своего места видел лишь профили зрителей.

С какой горечью наблюдал он, как постепенно разваливалось сооруженное им здание славы и поэзии! И подумать только, что еще недавно вся эта толпа, горя нетерпением поскорее услышать его мистерию, готова была взбунтоваться против самого судьи! Теперь, когда ее желание исполнено, она не обращает на пьесу никакого внимания. На ту самую пьесу, начало которой столь единодушно приветствовала! Вот он, вечный закон прилива и отлива народного благоволения! А за минуту до этого толпа чуть не повесила стражу суда! Чего бы не дал Гренгуар, чтобы воротить это сладостное мгновение!

Нудный монолог привратника, однако, окончился; все уже собрались, и Гренгуар вздохнул свободно. Комедианты снова мужественно принялись декламировать. Но тут встает чулочник, мэтр Копеноль, и среди всеобщего напряженного молчания произносит ужасную речь:

– Господа горожане и дворяне Парижа, клянусь Богом, я не понимаю, что все мы тут делаем. Я вижу вон на тех подмостках, в углу, каких-то людей, которые, видимо, собираются драться. Не знаю, может быть, это и есть то самое, что у вас называется «мистерией», но я не вижу здесь ничего занятного. Эти люди только треплют языком, и ничего больше! Вот уж четверть часа, как я жду драки, а они ни с места! Это трусы, которые умеют только браниться.

---

<sup>18</sup> В поступи явно сказалась богиня (лат.).

Вам следовало бы выписать сюда бойцов из Лондона или Роттердама, тогда бы дело пошло как надо. Посыпались бы такие кулачные удары, что их слышно было бы даже на площади! А эти – никудышный народ. Пусть уж лучше пропляшут какой-нибудь мавританский танец или выкинут что-нибудь забавное. Это совсем непохоже на то, что мне говорили. Мне обещали показать празднество шутов и избрание шутовского папы. У нас в Генте есть тоже свой папа шутов, в этом мы не отстаем от других, крест честной! Но мы делаем так. Собирается такая же толпа, как и здесь. Потом каждый по очереди просовывает голову в какое-нибудь отверстие и корчит при этом гримасу. Тот, у кого, по признанию всех, она получится самой безобразной, выбирается папой. Вот и все. Это очень забавно. Не желаете ли избрать папу шутов по обычаю моей родины? Во всяком случае это будет повеселее, чем слушать этих болтунов. Если же они захотят погримасничать, то можно и их принять в игру. Ваше мнение, граждане! Среди нас достаточно причудливых образчиков обоого пола, чтобы посмеяться над ними по-фламандски, и изрядное количество уродов, от которых можно ожидать отменных гримас!

Гренгуар собрался было ответить, но изумление, гнев, негодование сковали ему язык. К тому же предложение ставшего уже популярным чулочника было так восторженно встречено толпой, польщенной титулом «дворяне», что всякое сопротивление было бесполезно. Ему ничего не оставалось делать, как отдаться течению. Гренгуар закрыл лицо руками – у него не было плаща, которым он мог бы прикрыть голову наподобие Агамемнона Тиманта.

## У. Квазимодо

В одно мгновение все было готово в зале для осуществления мысли Копенюля. Горожане, школяры и судебные писцы принялись за дело. Маленькая часовня, расположенная против мраморного стола, была избрана сценой для показа гримас. Соискатели должны были просовывать головы в каменное кольцо в середине прекрасного окна-розетки над входом, откуда выбили стекло. Чтобы добраться до него, достаточно было влезть на две бочки, неизвестно откуда взявшиеся и кое-как установленные одна на другую. Условились, что каждый участник, будь то мужчина или женщина (могли избрать и папессу), дабы не нарушать цельности и силы впечатления от своей гримасы, будет находиться в часовне с закрытым лицом, пока не придет время показаться в отверстии. Вмиг часовня наполнилась кандидатами в папы, и дверь за ними захлопнулась.

Копенюль со своего места отдавал приказания, всем руководил, все устраивал. В разгар этой суматохи кардинал, не менее ошеломленный, чем Гренгуар, под предлогом неотложных дел и предстоящей вечерни, удалился в сопровождении своей свиты, и толпа, которую так взволновало его прибытие, не обратила теперь ни малейшего внимания на его уход. Единственным человеком, заметившим бегство его преосвященства, был Гильом Рим. Внимание толпы, подобно солнцу, совершало свой кругооборот: возникнув на одном конце зала и продержавшись одно мгновение в центре, оно перешло теперь к противоположному концу. И мраморный стол, и обтянутое золотой парчой возвышение уже успели погреться в его лучах, очередь была за часовней Людовика XI. Наступило раздолье для всех безумств. В зале остались только фламандцы и всякий сброд.

Начался показ гримас. Первая появившаяся в отверстии рожа, с вывороченными веками, разинутым наподобие пасти ртом и собранным в складки лбом, напоминающим голенище гусарского сапога времени Империи, вызвала у присутствующих такой безудержный хохот, что Гомер принял бы всю эту деревенщину за богов. А между тем большой зал менее всего напоминал Олимп, и бедный Гренгуаров Юпитер понимал это лучше всех. На смену первой гримасе явилась вторая, третья, еще и еще; одобрительный хохот и топот все возрастали. В этом зрелище было что-то головокружительное, какая-то опьяняющая колдовская сила, действие которой трудно описать читателю наших дней.

Представьте себе вереницу лиц, последовательно изображающих все геометрические фигуры – от треугольника до трапеции, от конуса до многогранника; выражения всех человеческих чувств, начиная от гнева и кончая похотливостью; все возрасты – от морщин новорожденного до морщин умирающей старухи; все фантастические образы, придуманные религией, – от Фавна до Вельзевула; все профили животных – от пасти до клюва, от рыла до мордочки. Вообразите, что все каменные личины Нового моста, эти застывшие под рукой Жермена Пилона кошмары, ожили и пришли одни за другими взглянуть на вас горящими глазами или что все маски венецианского карнавала мелькают перед вами, – словом, вообразите непрерывный калейдоскоп человеческих лиц.

Оргия принимала все более и более фламандский характер. Кисть самого Тенирса могла бы дать о ней лишь смутное понятие. Представьте себе битву Сальватора Розы, обратившуюся в вакханалию! Не было больше ни школяров, ни послдов, ни горожан, ни мужчин, ни женщин; исчезли Клопен Труильфу, Жиль Лекорню, Мари Четыре Фунта, Робен Пуспен. Все смешалось в общем безумии. Большой зал превратился в чудовищное горнило бесстыдства и веселья, где каждый рот вопил, каждое лицо корчило гримасу, каждое тело извивалось. Все вместе выло и орало. Странные рожи, которые одна за другой, скрежеща зубами, возникали в отверстии розетки, напоминали соломенные факелы, бросаемые в раскаленные угли. От всей этой бур-

лящей толпы отделялся, как пар от горнилы, острый, пронзительный, резкий звук, свистящий, словно крылья чудовищного комара.

– Ого! Черт возьми!

– Погляди только на эту рожу!

– Ну, она ничего не стоит!

– А эта!

– Гильомета Можерпюи, ну-ка взгляни на эту бычью морду, ей только рогов не хватает.

Значит, это не твой муж.

– А вот еще одна!

– Клянусь папским брюхом! Это еще что за рожа?

– Эй! Плутовать нельзя. Показывай только лицо!

– Это, наверно, проклятая Перета Кальбот? Она на все способна.

– Слава! Слава!

– Я задыхаюсь!

– А вот у этого уши никак не пролезают в отверстие!

И так далее, и так далее...

Однако нужно отдать справедливость нашему другу Жеану. Он один среди этого шабаша не покидал своего места и, как юнга за мачту, держался за верхушку своего столба. Он бесновался, он впал в совершенное неистовство. Рот его был широко разинут и издавал такой вопль, который не был слышен не потому, что его заглушал общий шум, а потому, что звук этого вопля выходил за пределы, воспринимаемые человеческим слухом, как это бывает, по Соверу, при двенадцати тысячах, а по Био – при восьми тысячах колебаний в секунду.

Что касается Гренгуара, то он сперва растерялся, но затем быстро овладел собой. Он приготовился дать отпор этому бедствию.

– Продолжайте! – в третий раз крикнул он своим говорящим машинам-актерам. Шагая перед мраморным столом, он ощущал желание показаться в оконце часовни хотя бы для того только, чтобы скорчить рожу этой неблагодарной толпе. «Но нет, это недостойно меня. Не надо мстить! Будем бороться до конца, – твердил он. – Власть поэзии над толпой велика, я образумлю этих людей. Увидим, кто восторжествует – гримасы или изящная словесность».

Увы! Он остался единственным зрителем своей пьесы. Его положение стало еще более плачевным, чем минуту назад. Он видел только спины. Впрочем, я ошибаюсь. Терпеливый толстяк, с которым Гренгуар однажды в критическую минуту уже советовался, продолжал сидеть лицом к сцене. Что же касается Жискеты и Лиенарды, то они давно сбежали.

Гренгуар был тронут до глубины души верностью своего единственного слушателя. Приблизившись к нему, он заговорил с ним, осторожно тронув его за руку, так как толстяк, облокотившись о балюстраду, видимо, слегка подремывал.

– Благодарю вас, сударь, – сказал Гренгуар.

– За что, сударь? – спросил, зевая, толстяк.

– Я понимаю, что вам надоел весь этот шум. Он мешает вам слушать пьесу. Но будьте покойны, ваше имя перейдет в потомство. Будьте так добры, скажите, как вас зовут.

– Рено Шато, хранитель печати парижского Шатле, к вашим услугам.

– Сударь, вы здесь единственный ценитель муз! – повторил Гренгуар.

– Вы очень любезны, сударь, – ответил хранитель печати Шатле.

– Вы один, – продолжал Гренгуар, – внимательно слушали пьесу. Как она вам понравилась?

– Гм! Гм! – ответил наполовину проснувшийся толстяк. – Пьеса довольно забавна!

Гренгуару пришлось удовольствоваться этой похвалой, потому что гром рукоплесканий, смешавшись с оглушительными криками, внезапно прервал их разговор. Папа шутов был избран.

– Слава! Слава! – редела толпа.

Рожа, красовавшаяся в отверстии розетки, была воистину изумительна! После всех этих пятиугольных, шестиугольных причудливых лиц, одно за другим появлявшихся в отверстии, но не воплощавших того образца смешанного уродства, который в своем распаленном воображении создала толпа, только такая потрясающая гримаса могла поразить это сборище и вызвать столь бурное одобрение. Сам мэтр Копеноль рукоплескал ей, и даже Клопен Труйльфу, участвовавший в состязании, – а одному богу известно, какой высокой степени безобразия могло достигнуть его лицо! – даже он признал себя побежденным. Последуем и мы его примеру. Трудно описать этот четырехгранный нос, подковообразный рот, крохотный левый глаз, почти закрытый щетинистой рыжей бровью, в то время как правый совершенно исчезал под громадной бородавкой, обломанные кривые зубы, напоминавшие зубцы крепостной стены, эту рас­трескавшуюся губу, над которой нависал, точно бивень слона, один из зубов, этот раздвоенный подбородок... Но еще труднее описать ту смесь злобы, изумления, грусти, которые отражались на лице этого человека. А теперь попробуйте все это себе представить в совокупности!

Одобрение было единодушным. Толпа устремила­сь к часовне. Оттуда с торжеством вывели почтенного папу шутов. Но только теперь изумление и восторг толпы достигли наивысшего предела. Гримаса была его настоящим лицом.

Вернее, он весь представлял собой гримасу. Громадная голова, поросшая рыжей щетиной; огромный горб между лопаток и другой, уравнивающий его, – на груди; бедра настолько вывихнутые, что ноги его могли сходить­ся только в коленях, странным образом напоминая собой спереди два серпа с соединенными рукоятками; широкие ступни, чудовищные руки. И, несмотря на это уродство, во всей его фигуре было какое-то грозное выражение силы, проворства и отваги – необычайное исключение из того общего правила, которое требует, чтобы сила, подобно красоте, проистекала из гармонии. Таков был избранный шутами папа.



Казалось, это был разбитый и неудачно спаянный великан.

Когда это подобие циклопа появилось на пороге часовни, неподвижное, коренастое, почти одинаковых размеров в ширину и высоту, «квадратное в самом основании», как говорил один великий человек, то по надетому на нем наполовину красному, наполовину фиолетовому камзолу, усеянному серебряными колокольчиками, а главным образом по его несравненному уродству простонародье тотчас же признало его.

– Это Квазимодо, горбун! – закричали все в один голос. – Это Квазимодо, звонарь Собора Парижской Богоматери! Квазимодо кривоногий, Квазимодо одноглазый! Слава! Слава!

Видимо, у бедного малого не было недостатка в прозвищах.

– Берегитесь, беременные женщины! – орала школяры.

– И те, которые желают забеременеть! – прибавил Жоаннес.

Женщины и в самом деле закрывали лица руками.

– О! Противная обезьяна! – говорила одна.

– Такая же злая, как и уродливая! – прибавляла другая.

– Дьявол во плоти, – вставляла третья.

– К несчастью, я живу возле собора и слышу, как всю ночь он бродит по крыше.

– Вместе с кошками.

– И посылает на нас порчу через дымоходы.

– Как-то вечером он просунул свою рожу ко мне в окно. Я приняла его за мужчину и ужасно перепугалась.

– Я уверена, что он летает на шабаш. Однажды он забыл свою метлу в водосточном желобе на моей крыше.

– О мерзкая харя!

– О гнусная душа!

– Фу!

А мужчины – те восхищались и рукоплескали горбуну.

Квазимодо, виновник всей этой шумихи, мрачный, серьезный, стоял на пороге часовни, позволяя любоваться собой.

Один школяр, кажется Робен Пуспен, подошел поближе и расхохотался ему прямо в лицо. Квазимодо ограничился только тем, что взял его за пояс и отбросил шагов на десять в толпу. И все это без единого звука.

Восхищенный мэтр Копеноль подошел к нему и сказал:

– Крест честной! Я никогда в жизни не встречал такого великолепного уродства, святой отец! Ты достоин быть папой не только в Париже, но и в Риме.

И он весело хлопнул его по плечу. Квазимодо не шелохнулся.

– Ты именно такой парень, с которым я охотно кутнул бы, пусть даже это обойдется мне в дюжину новеньких турецких ливров! Что ты на это скажешь? – продолжал Копеноль.

Квазимодо молчал.

– Крест честной! – воскликнул чулочник. – Ты глухой, что ли?

Да, Квазимодо был глухой.

Однако приставание Копеноля начало раздражать Квазимодо: он вдруг повернулся к нему и так страшно заскрипел зубами, что богатырь-фламандец попятился, как бульдог от кошки.

И тогда ужас и почтение образовали вокруг этой странной личности кольцо, радиус которого был не менее пятнадцати шагов. Какая-то старуха объяснила Копенюлю, что Квазимодо глух.

– Глух! – разразился чулочник грубым фламандским смехом. – Крест честной! Да это не папа, а совершенство!

– Эй! Я знаю его! – крикнул Жеан, спустившись наконец со своей капители, чтобы поближе взглянуть на Квазимодо. – Это звонарь моего брата-архидьякона. Здравствуй, Квазимодо!

– Вот дьявол! – сказал Робен Пуспен, все еще не оправившийся от своего падения. – Поглядишь на него – горбун. Пойдет – видишь, что он хромым. Взглянет на вас – кривой. Заговоришь с ним – он глухой. Да есть ли язык у этого Полифема?

– Он говорит, если захочет, – пояснила старуха. – Он оглох оттого, что звонит в колокола. Он не немой.

– Только этого еще ему недостает, – заметил Жеан.

– Один глаз у него лишний, – заметил Робен Пуспен.

– Ну нет, – справедливо возразил Жеан, – кривому хуже, чем слепому. Он знает, чего он лишен.

Тем временем нищие, слуги и карманники вместе со школярами отправились процессией к шкафу судейских писцов, чтобы достать картонную тиару и нелепую мантию папы шутов. Квазимодо беспрекословно и даже с оттенком какой-то надменной покорности разрешил облечь себя в них. Потом его усадили на пестро раскрашенные носилки. Двенадцать членов братства шутов подняли его на плечи; какой-то горькой и презрительной радостью расцвело мрачное лицо циклопа, когда он увидел у своих кривых ног головы всех этих красивых, стройных, хорошо сложенных мужчин. Затем галдящая толпа оборванцев, прежде чем пойти по улицам и перекресткам, двинулась, согласно обычаю, по внутренним галереям дворца.

## VI. Эсмеральда

Мы счастливы сообщить нашим читателям, что во время всей этой сцены и Гренгуар, и его пьеса держались стойко. Понукаемые автором, актеры без усталости декламировали его стихи, а он без усталости их слушал. Примирившись с окружающим гамом, он решил довести дело до конца и не терял надежды, что публика вновь обратит внимание на его пьесу. Этот луч надежды разгорелся еще ярче, когда он заметил, что Копеноль, Квазимодо и вся буйная ватага шутовского папы с оглушительным шумом покинула зал. Толпа жадно устремилась за ними.

– Отлично! – пробормотал он. – Все крикуны уходят. – К несчастью, «крикунами» была вся толпа. В одно мгновение зал опустел.

Собственно говоря, в зале кое-кто еще оставался. Это были женщины, старики и дети, пресытившиеся шумом и гамом. Иные бродили в одиночку, другие толпились около столбов. Несколько школяров все еще сидели верхом на подоконниках и оттуда глазели на площадь.

«Ну что же, – подумал Гренгуар, – и этих достаточно, чтобы дослушать мою мистерию. Их, правда, мало, но зато публика избранная, образованная».

Однако через несколько минут выяснилось, что симфония, которая должна была произвести особенно сильное впечатление при появлении Пречистой Девы, не может быть исполнена. Гренгуар вспомнил, что всех музыкантов увлекла за собой процессия папы шутов.

– Обойдемся и без симфонии, – стоически произнес поэт. Он приблизился к группе горожан, которые, как ему показалось, рассуждали о его пьесе. Вот услышанный им отрывок разговора:

– Мэтр Шенето, знаете ли вы Наваррский особняк, который принадлежал господину де Немуру?

– Да, против Бракской часовни.

– Так вот, казна недавно сдала его внаем Гильому Аликсандру, живописцу, за шесть парижских ливров и восемь су в год.

– Однако как растет арендная плата!

«Пустяки, – вздыхая, утешил себя Гренгуар, – зато остальные слушают».

– Друзья, – внезапно крикнул один из молодых озорников, примостившихся на подоконниках, – Эсмеральда! Эсмеральда на площади!

Это имя произвело магическое действие. Все, кто еще оставался в зале, повторяя «Эсмеральда! Эсмеральда!», бросились к окнам, подтягиваясь до подоконника, чтобы увидеть.

В это же время с площади донеслись громкие рукоплескания.

– Какая еще там Эсмеральда? – воскликнул Гренгуар, в отчаянии сжимая руки. – О боже мой! Теперь, как видно, пришла очередь глазеть в окна!

Обернувшись к мраморному столу, он увидел, что представление приостановилось. Как раз в это время надлежало появиться Юпитеру со своей молнией. А между тем Юпитер неподвижно стоял внизу у сцены.

– Мишель Жиборн, – раздраженно крикнул поэт, – что ты там застрял? Твой выход! Влезай на сцену!

– Увы! – ответил Юпитер. – Какой-то школяр унес лестницу.

Гренгуар поглядел на сцену. Лестница действительно пропала. Нить между завязкой и развязкой пьесы была оборвана.

– Экий чудак, – пробормотал он. – Зачем же ему понадобилась лестница?

– Чтобы взглянуть на Эсмеральду, – жалобно ответил Юпитер. – Он сказал: «Стой, а вот и лестница, которая никому не нужна» – и унес ее.

Это был последний удар судьбы. Гренгуар принял его безропотно.

– Убирайтесь все к черту! – крикнул он комедиантам. – Если заплатят мне, я рассчитаюсь и с вами.

И он отступил, понутив голову, но отступил последним, как доблестно сражавшийся полководец.

Спускаясь по извилистым лестницам дворца, Гренгуар ворчал себе под нос: «Какое скопище ослов и невежд эти парижане! Собрались, чтобы слушать мистерию, и не слушают! Им все интересно: Клопен Труйльфу, кардинал, Копеноль, Квазимодо и сам черт, но только не Пречистая Дева! Знай я это, показал бы я вам пречистых дев, ротозеи! А я-то? Пришел наблюдать, какие лица у зрителей, и увидел только их спины! Быть поэтом, а иметь успех, достойный какого-нибудь шарлатана, торговца зельями! Положим, что Гомер просил милостыню в греческих селениях, а Назон скончался в изгнании у московитов. Но черт меня подери, если я понимаю, что они хотят сказать этим „Эсмеральда“. И что это за слово? Цыганское, верно!»

## Книга вторая

### І. Между Сциллой и Харибдой

В январе смеркается рано. Улицы были уже погружены во мрак, когда Гренгуар вышел из дворца. Наступившая темнота была ему по душе; он спешил добраться до какой-нибудь сумрачной и пустынной улочки, чтобы поразмыслить там без помехи и дать философу наложить первую повязку на рану поэта. Впрочем, философия была сейчас его единственным прибежищем, ибо ему негде было переночевать. После блистательного провала его пьесы он не решался возвратиться в жилище, которое занимал на Складской улице, против Сенной пристани. Он уже не рассчитывал на вознаграждение за свою эпиталаму уплатить мэтру Гильому Ду-Сиру, откупщику городских сборов с торговцев скотом, квартирную плату за шесть месяцев, что составляло двенадцать парижских су, то есть ровно в двенадцать раз больше того, чем он обладал на этом свете, включая штаны, рубашку и шапку.

Остановившись подле маленькой калитки тюрьмы при Сент-Шапель и раздумывая о том, где бы ему выбрать место для ночлега, – а в его распоряжении были все мостовые Парижа, – он вдруг припомнил, что, проходя на прошлой неделе по Башмачной улице мимо дома одного парламентского советника, он заметил около входной двери каменную ступеньку, служившую подножкой для всадников, и тогда же сказал себе, что она при случае может быть прекрасным изголовьем для нищего или для поэта. Он возблагодарил провидение, ниспославшее ему столь счастливую мысль, но, намереваясь пересечь Дворцовую площадь, чтобы углубиться в извилистый лабиринт Ситэ, где вьются эти древние улицы-сестры, сохранившиеся и донныне, но уже застроенные девятиэтажными домами, – Бочарная, Старая Суконная, Башмачная, Еврейская и прочие, – он увидел процессию папы шутов, которая тоже выходила из Дворца правосудия и с оглушительными криками, с пылающими факелами, под музыку неслась ему наперерез. Это зрелище разбередило его уязвленное самолюбие. Он поспешил удалиться. Его авторская неудача преисполнила душу такой горечью, что все, напоминавшее дневное празднество, раздражало его и заставляло кровоточить его рану.

Он направился было к мосту Сен-Мишель, но по мосту бегали ребяташки с факелами и шутихами.

– К черту все потешные огни! – пробормотал поэт и повернул к мосту Менял. На домах, стоявших у начала моста, были вывешены три флага с изображениями короля, дофина и Маргариты Фландрской и шесть маленьких флажков, на которых были намалеваны герцог Австрийский, кардинал Бурбонский, господин де Божё, Жанна Французская, побочный сын герцога Бурбонского и уж не знаю кто; все это было освещено факелами. Толпа была в восторге.

«Экий счастливец этот художник Жан Фурбо!» – подумал, тяжело вздохнув, Гренгуар и повернулся спиной к флагам и к флажкам. Перед ним расстилалась улица, достаточно темная и пустынная для того, чтобы там укрыться от праздничного гула и блеска. Он углубился в нее. Через несколько мгновений он обо что-то споткнулся и упал. Оказалось, что это был пучок ветвей майского деревца, который, по случаю торжественного дня, накануне утром судебские писцы положили у дверей председателя судебной палаты. Гренгуар стоически перенес эту новую неприятность. Он встал и дошел до набережной. Миновав уголовную и гражданскую тюрьму и пройдя вдоль высоких стен королевских садов по песчаному, невымощенному берегу, где грязь доходила ему до щиколотки, он добрался до западной части Ситэ и некоторое время созерцал островок Коровий перевоз, который исчез ныне под бронзовым конем Нового моста. Островок этот, отделенный от Гренгуара узким, смутно белевшим в темноте ручьем,

казался ему какой-то черной массой. На нем при свете тусклого огонька можно было различить нечто вроде шалаша, похожего на улей, где по ночам укрывался перевозчик скота.

«Счастливым паромщик, – подумал Гренгуар, – ты не гредишь о славе и ты не пишешь эпиталям! Что тебе до королей, вступающих в брак, и до герцогинь бургундских! Тебе неведомы иные маргаритки, кроме тех, что щиплют твои коровы на зеленых апрельских лужайках! А я, поэт, освистан, я дрожу от холода, я задолжал двенадцать су, и подметки мои так просвечивают, что могли бы заменить стекла в твоём фонаре. Спасибо тебе, паромщик, мой взор отдыхает, покоясь на твоей хижине! Она заставляет меня забыть о Париже!»

Треск большой двойной петарды, внезапно послышавшийся из благословенной хижины, пробудил его от лирического экстаза. Это паромщик, получая свою долю праздничных развлечений, забавлялся потешными огнями.

От взрыва петарды мороз пробежал по коже Гренгуара.

– Проклятый праздник! – воскликнул он. – Неужели ты будешь преследовать меня всюду? Даже до хижины паромщика!

Взглянув на катившуюся у его ног Сену, он почувствовал страшное искушение.

– О, с каким удовольствием я утопился бы, не будь вода такой холодной!

И он принял отчаянное решение. Раз не в его власти избежать папы шутов, флажков Жеана Фурбо, майского деревца, факелов и петард, так не лучше ли пробраться к самому средоточию праздника и пойти на Гревскую площадь.

«По крайней мере, – подумал он, – мне достанется хотя бы одна головешка от праздничного костра, чтобы обогреться, и я смогу поужинать несколькими крохами от трех огромных сахарных кренделей в виде королевского герба, которые выставлены для народа в городском буфете».

## II. Гревская площадь

Ныне от Гревской площади того времени остался лишь едва заметный след: это прелестная башенка, занимающая ее северный угол. Но и она почти погребена под слоем грубой штукатурки, облепившей острые грани ее скульптурных украшений, и вскоре, быть может, исчезнет совсем, затопленная половодьем новых домов, столь стремительно поглощающим все старинные здания Парижа.

Люди, которые, подобно нам, никогда не могут пройти по Гревской площади, не скользнув взглядом сочувствия и сожаления по этой бедной башенке, защемленной между двумя развалившимися постройками времени Людовика XV, легко воссоздадут в своем воображении ту группу зданий, в число которых она входила, и ясно представят себе старинную готическую площадь XV века.

Она, как и теперь, имела форму неправильной трапеции, окаймленной с одной стороны набережной, а с трех других – рядом высоких, узких и мрачных домов. Днем можно было любоваться разнообразием этих зданий, покрытых резными украшениями из дерева или из камня и уже тогда являвших собой совершенные образцы всевозможных архитектурных стилей Средневековья от XI до XV века; здесь были и прямоугольные окна, начинавшие вытеснять стрельчатые, и полукруглые романские, которые в свое время были заменены стрельчатыми и которые наряду с последними еще продолжали украшать собой второй этаж старинного здания Роландовой башни на углу набережной и Кожевенной улицы. Ночью во всей этой массе домов можно было различить лишь черную зубчатую линию крыш, окружавших площадь цепью острых углов. Одно из основных различий между современными городами и городами прежними заключается в том, что современные постройки обращены к улицам и площадям фасадами, тогда как прежде они стояли к ним боком. Прошло уже два века с тех пор, как дома повернулись к улице.

Посередине восточной стороны площади возвышалось громоздкое, смешанного стиля строение, состоящее из трех вплотную примыкавших друг к другу домов. У него было три различных названия, объяснявших его историю, назначение и архитектуру: Дом дофина, потому что в нем обитал дофин Карл V, Торговая палата, потому что здесь помещалась городская ратуша, и Дом с колоннами (*domus ad piloria*), потому что ряд толстых колонн поддерживал три его этажа.

Здесь было все, что только могло понадобиться славному городу Парижу: часовня, чтобы молиться; зал судебных заседаний, чтобы чинить суд и расправу над королевскими подданными, и, наконец, арсенал, полный огнестрельного оружия. Горожане Парижа знали, что молитва и судебная тяжба далеко не всегда являются надежной защитой городских привилегий, и потому имели про запас на чердаке городской ратуши некоторое количество ржавых аркебуз.

Уже и в те времена Гревская площадь производила мрачное впечатление, возникающее и сейчас вследствие ужасных воспоминаний, которые с ней связаны, а также при виде угрюмого здания городской ратуши Доминика Бокадора, заменившей Дом с колоннами. Надо сказать, что виселица и позорный столб, «правосудие и лестница», как говорили тогда, воздвигнутые бок о бок посреди мостовой, отвращали взор прохожего от этой роковой площади, где столько цветущих, полных жизни людей испытали смертные муки и где полвека спустя родилась лихорадка Сен-Валье, вызываемая ужасом перед эшафотом, – самая чудовищная из всех болезней, ибо ее насылает не Бог, а человек.

Утешительно думать, заметим это мимоходом, что смертная казнь, которая еще триста лет тому назад своими железными колесами, каменными виселицами, всевозможными орудиями пыток загромождала Гревскую площадь, Рыночную площадь, площадь Дофина, перекре-

сток Трагуар, Свиной рынок, этот гнусный Монфокон, заставу Сержантов, Кошачий рынок, ворота Сен-Дени, Шампо, ворота Боде, ворота Сен-Жак, не считая бесчисленных виселиц, поставленных прево, епископами, капитулами, аббатами и приорами – всеми, кому было предоставлено право судить; не считая потопления преступников в Сене по приговору суда, – утешительно думать, что эта древняя владычица феодальных времен, утратив постепенно свои доспехи, свою пышность, замысловатые, фантастические карательные меры, свою пытку, для которой каждые пять лет переделывалась кожаная скамья в Гран-Шатле, ныне, травимая из уложения в уложение, гонимая с места на место, почти исчезла из наших законов и городов и владеет в нашем необъятном Париже лишь одним опозоренным уголком Гревской площади, лишь одной жалкой гильотиной, прячущейся, беспокойной, стыдящейся, которая, нанеся свой удар, так быстро исчезает, словно боится, что ее застигнут на месте преступления.

### III. Besos para golpes<sup>19</sup>

Пока Пьер Гренгуар добрался до Гревской площади, он весь продрог. Чтобы избежать давки на мосту Менял и не видеть флажков Жеана Фурбо, он шел сюда через Мельничный мост; но по пути колеса епископских мельниц забрызгали его грязью, и камзол его промок насквозь. Притом ему казалось, что после провала его пьесы он стал более зябким. А потому он поспешил к праздничному костру, великолепно пылавшему посреди площади. Но его окружало плотное кольцо людей.

– Проклятые парижане! – пробормотал Гренгуар. Как истый драматург, он чувствовал пристрастие к монологам. – Теперь они загораживают огонь, а ведь мне так необходимо хотя бы немножко погреться. Мои башмаки протекают, да еще эти проклятые мельницы пролили на меня слезы сочувствия! Черт бы побрал парижского епископа с его мельницами! Хотел бы я знать, на что епископу мельницы? Уж не надумал ли он сменить епископскую митру на колпак мельника? Ежели ему для этого не хватает только моего проклятия, то я охотно проклянущу и его самого, и его собор вместе с его мельницами! Ну-ка поглядим, сдвинутся ли с места эти ротозеи! Спрашивается, что они там делают? Они греются – наилучшее из удовольствий! Они плазуют, как горит сотня вязанок хвороста, – наилучшее из зрелищ!

Но, взглядевшись поближе, он заметил, что круг был значительно шире, чем нужно для того, чтобы греться возле королевского костра, и что этот наплыв зрителей объяснялся не только видом ста ослепительно пылавших вязанок хвороста.

На просторном, свободном пространстве между костром и толпой плясала молодая девушка.

Была ли эта юная девушка человеческим существом, феей или ангелом, этого Гренгуар, сей философ-скептик, сей иронический поэт, сразу определить не мог, настолько был он очарован ослепительным видением.

Она была невысока ростом, но казалась высокой – так строен был ее тонкий стан. Она была смугла, но нетрудно было догадаться, что днем ее кожа отливала тем чудесным золотистым оттенком, который присущ андалузкам и римлянкам. Маленькая ножка тоже была ножкой андалузки – так легко ступала она в своем узком изящном башмачке. Девушка плясала, порхала, кружилась на небрежно брошенном ей под ноги старом персидском ковре, и всякий раз, когда ее сияющее лицо возникало перед вами, взгляд ее больших черных глаз ослеплял вас как молния.

Взоры всей толпы были прикованы к ней, все рты разинуты. Она танцевала под рокотание бубна, который ее округлые девственные руки высоко вносили над головой. Тоненькая, хрупкая, с обнаженными плечами и изредка мелькавшими из-под юбочки стройными ножками, черноволосая, быстрая, как оса, в золотистом, плотно облегавшем ее талию корсаже, в пестром раздувавшемся платье, сияя очами, она воистину казалась существом неземным.

«Право, – думал Гренгуар, – это саламандра, это нимфа, это богиня, это вакханка с горы Менад!»

В это мгновение одна из кос «саламандры» расплелась, привязанная к ней медная монетка упала и покатилась по земле.

– Э, нет, – сказал он, – это цыганка.

Мираж рассеялся.

Девушка снова принялась плясать. Подняв с земли две шпаги и приставив их остриями ко лбу, она начала вращать их в одном направлении, а сама кружилась в обратном. Действительно, это была просто-напросто цыганка. Но как ни велико было разочарование Гренгуара,

---

<sup>19</sup> Поцелуи за удары (*исп.*).

он не мог не поддаться обаянию и волшебству этого зрелища. Яркий алый свет праздничного костра весело играл на лицах зрителей, на смуглом лице молодой девушки, отбрасывая слабый отблеск вместе с их колышущимися тенями в глубину площади, на черный, покрытый трещинами старинный фасад Дома с колоннами с одной стороны и на каменные столбы виселицы – с другой.

Среди тысячи лиц, озаренных багровым пламенем костра, выделялось лицо человека, казалось более других поглощенного созерцанием плясуньи. Это было суровое, замкнутое и мрачное лицо мужчины. Человеку этому, одежду которого заслоняла теснившаяся вокруг него толпа, на вид можно было дать не более тридцати пяти лет; между тем он был уже лыс, и лишь кое-где на висках еще уцелело несколько прядей редких седеющих волос; его широкий и высокий лоб бороздили морщины, но в глубоко запавших глазах сверкал необычайный юношеский пыл, жажда жизни и затаенная страсть. Он не отрываясь глядел на цыганку, и пока шестнадцатилетняя беззаботная девушка, возбуждая восторг толпы, плясала и порхала, его лицо становилось все мрачнее. Временами улыбка у него сменяла вздох, но в улыбке было еще больше скорби, чем в самом вздохе.

Наконец молодая девушка остановилась, прерывисто дыша, и восхищенная толпа разразилась рукоплесканиями.

– Джали! – позвала цыганка.

И Гренгуар увидел подбежавшую к ней прелестную маленькую белую козочку, резвую, веселую, с глянцевитой шерстью, позолоченными рожками и копытцами, в золоченом ошейнике, которую он прежде не заметил; до этой минуты, лежа на уголке ковра, она не отрываясь глядела на пляску своей госпожи.

– Джали, теперь твой черед, – сказала плясунья.

Она села и грациозно протянула козочке бубен.

– Джали, какой теперь месяц? – спросила она.

Козочка подняла переднюю ножку и стукнула копытцем по бубну один раз. Был действительно январь. В толпе послышались рукоплескания.

– Джали, – снова спросила молодая девушка, перевернув бубен, – какое нынче число?

Джали опять подняла свое маленькое позолоченное копытце и ударила им по бубну шесть раз.

– Джали, – продолжала цыганка, снова перевернув бубен, – который теперь час?

Джали стукнула семь раз. В ту же минуту на часах Дома с колоннами пробило семь. Толпа застыла в изумлении.

– Это колдовство! – проговорил мрачный голос в толпе. Голос принадлежал лысому человеку, не спускавшему с цыганки глаз.

Она вздрогнула и обернулась. Но гром рукоплесканий заглушил зловещие слова и настолько сгладил впечатление от этого возгласа, что девушка как ни в чем не бывало снова обратилась к своей козочке:

– Джали, а как ходит мэтр Гишар Гран-Реми, начальник городских стрелков, во время крестного хода на Сретенье?

Джали поднялась на задние ножки и заблеяла, переступая с такой забавной важностью, что все зрители покатались со смеху при виде этой пародии на ханжеское благочестие начальника стрелков.

– Джали, – продолжала молодая девушка, ободренная все растущим успехом, – а как говорит речь мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор, в духовном суде?

Козочка села и заблеяла, так странно подбрасывая передние ножки, что все в ней – поза, движения, повадка – сразу напомнило Жака Шармолю, не хватало только скверного французского и латинского произношения.

Толпа восторженно рукоплескала.

– Святотатство! Кощунство! – снова послышался голос лысого человека.

Цыганка обернулась:

– Ах, опять этот гадкий человек!

И, выпятив нижнюю губку, она сделала гримаску, которая, по-видимому, была ей привычна, затем, повернувшись на каблучках, пошла собирать в бубен даяния зрителей.

Крупные и мелкие серебряные монеты, лиарды сыпались градом. Когда она проходила мимо Гренгуара, он необдуманно сунул руку в карман, и цыганка остановилась.

– Черт возьми! – воскликнул поэт, найдя в глубине своего кармана то, что там было, то есть пустоту. А между тем молодая девушка стояла и глядела ему в лицо черными большими глазами, протягивая свой бубен, и ждала. Крупные капли пота выступили на лбу Гренгуара.

Владей он всем золотом Перу, он тотчас же, не задумываясь, отдал бы его плясунье; но золотом Перу он не владел, да и Америка в то время еще не была открыта. Неожиданный случай выручил его.

– Да уберешься ли ты отсюда, египетская саранча! – крикнул пронзительный голос из самого темного угла площади.

Молодая девушка испуганно обернулась. Теперь крикнул уже не лысый человек – голос был женский, злобный и иступленный.

Этот окрик, так напугавший цыганку, привел в восторг слонявшихся по площади детей.

– Это затворница Роландовой башни! – неистово хохоча, закричали они. – Это брюзжит вретишница! Она, должно быть, не ужинала. Принесем-ка ей оставшихся в городском буфете объедков!

И вся ватага стремительно бросилась к Дому с колоннами.

Гренгуар, воспользовавшись замешательством плясуньи, ускользнул незамеченным. Возгласы ребятишек напомнили ему, что и он тоже не ужинал. Он побежал за ними. Но у маленьких озорников ноги были проворнее, чем у него, и когда он достиг цели, все уже было ими дочиста подметено. Не оставалось даже жалкого хлебца по пяти су за фунт. Лишь на стенах, расписанных в 1434 году Матье Битерном, красовались стройные королевские лилии, разбросанные среди роз. Но это не могло заменить ему ужин!

Тягостно ложиться спать, не поужинав; еще печальнее, оставшись голодным, не зная, где переночевать. В таком положении оказался Гренгуар. Ни хлеба, ни крова; со всех сторон его теснила нужда, и он находил ее чересчур суровой. Уже давно открыл он ту истину, что Юпитер создал людей в припадке мизантропии и что мудрецу всю жизнь приходится бороться с судьбой, которая держит его философию в осадном положении. Никогда еще эта осада не была столь жестокой; желудок Гренгуара бил тревогу, и поэт находил, что со стороны злой судьбы крайне несправедливо брать его философию измором.

Эти грустные размышления, овладевавшие им все с большей силой, внезапно были прерваны странным, хотя и не лишенным сладости пением. То пела юная цыганка.

И веяло от ее песни тем же, чем и от ее пляски, и от ее красоты: чем-то неизъяснимым и прелестным, чем-то чистым и звучным, воздушным и окрыленным, если можно так выразиться. То было непрестанное нарастание звуков, мелодий, неожиданных рун; простые музыкальные фразы перемешивались с резкими свистящими звуками; водопады трелей, способные обескуражить даже соловья, хранили вместе с тем верность гармонии; мягкие переливы октав то поднимались, то опускались, как грудь молодой певички. Ее прелестное лицо с необычайной выразительностью отражало всю прихотливость ее песни, от самого страстного восторга до величавого целомудрия. Она казалась то безумной, то королевой.

Язык этой песни был неизвестен Гренгуару. По-видимому, он не был понятен и самой певичке, так мало соответствовали те чувства, которые она влагала в пение, словам песни. Эти четыре стиха:

Un cofre de gran riqueza  
Hallaron dentro un pilar,  
Dentro del, nuevas banderas  
Con figuras de espantar...<sup>20</sup> —

в ее устах звучали безумным весельем, а мгновение спустя выражение, которое она придавала словам:

Alarabes de caballo  
Sin poderse menear,  
Con espadas, y los cuellos,  
Ballestas de buen echar...<sup>21</sup> —

исторгало у Гренгуара слезы. Но чаще ее пение дышало радостью, она пела как птица, ликующе и беспечно.

Песнь цыганки встревожила задумчивость Гренгуара – так тревожит лебедь гладь воды. Он внимал ей упоенный, забыв все на свете. Впервые за долгие часы он забыл свои страдания. Но это длилось недолго.

Тот же голос, который прервал пляску цыганки, прервал теперь ее пение.

– Замолчишь ли ты, чертова стрекоза! – послышалось из того же темного угла площади.

Бедняжка-«стрекоза» умолкла. Гренгуар заткнул себе уши.

– О проклятая старая пила, разбившая лиру! – воскликнул он.

Зрители тоже ворчали.

– К черту вретушницу! – возмущались многие.

И старое незримое пугало могло бы дорого поплатиться за свои нападки на цыганку, если бы в эту минуту внимание толпы не было отвлечено процессией шутовского папы, успевшей обежать улицы и перекрестки и хлынувшей теперь с факелами и шумом на площадь.

Эта процессия, которую читатель наблюдал, когда она выходила из дворца, в пути установила порядок и вобрала в себя всех мошенников, бездельников, воров и бродяг Парижа. Таким образом, прибыв на Гревскую площадь, она являла собою зрелище поистине внушительное.

Впереди всех двигались цыгане. Во главе их, направляя и вдохновляя шествие, ехал верхом на коне цыганский герцог в сопровождении своих пеших графов; за ними беспорядочной толпой следовали цыгане и цыганки, таща на спине ревущих детей; и все – герцог, графы и чернь – в отрепьях и мишуре. За цыганами двигались подданные королевства Арго, то есть все воры Франции, разделенные по рангам на несколько отрядов; первыми шли самые низшие по званию. Так, по четыре человека в ряд, со всевозможными знаками отличия соответственно их ученой степени в области этой странной науки, проследовало множество калек – то хромых, то одноруких: карманников, богомольцев, эпилептиков, скуфейников, христарадников, котов, шатунов, деловых ребят, хиляков, погорельцев, банкротов, забавников, форточников, мазуриков и домушников, – перечисление всех утомило бы самого Гомера. В центре конклава мазуриков и домушников можно было с трудом различить короля Арго, великого кесаря, сидевшего на корточках в маленькой тележке, которую тащили две большие собаки. Вслед за подданными короля Арго шли люди царства галилейского. Впереди бежали дерущиеся и выплясывающие пиррический танец скоморохи, за ними величаво выступал Гильом Руссо, царь галилейский, облаченный в пурпурную, залитую вином хламиду, окруженный своими жезлоносцами, клеветрами и писцами счетной палаты. Под звуки достойной шабаша музыки шествие замы-

---

<sup>20</sup> Внутри колонны нашли богатый ларь, в котором лежали новые знамена с ужасными изображениями (*исп.*).

<sup>21</sup> Арабы верхом на конях, неподвижные, с мечами, и самострелы перекинуты у них через плечо (*исп.*).

кала корпорация судебных писцов в черных мантиях, несших украшенные цветами «майские ветви» и большие желтые восковые свечи. В самом центре этой толпы высшие члены братства шутов несли на плечах носилки, на которых было наставлено больше свечей, чем на реке Св. Женевьевы во время эпидемии чумы. А на этих носилках, облаченный в мантию, в митре, с посохом в руке, блистал вновь избранный папа шутов – звонарь Собора Парижской Богоматери Квазимодо-горбун.

У каждого отряда этой причудливой процессии была своя, особая музыка. Цыгане били в свои балафоны и африканские тамбурины. Народ «арго», весьма мало музыкальный, все еще придерживался виолы, пастушьего рожка и старинной рюбебы XII столетия. Царство галилейское не намного опередило их в этом отношении: в его оркестре с трудом можно было различить звук жалкой ребеки – скрипки младенческой поры искусства, имевшей всего три тона. Зато все музыкальное богатство эпохи разворачивалось в великолепной какофонии, звучащей вокруг папы шутов. И все же оно заключалось лишь в ребеках верхнего, среднего и нижнего регистров, если не считать множества флейт и медных инструментов. Увы! Нашим читателям уже известно, что это был оркестр Гренгуара.

Трудно изобразить выражение той гордой и набожной радости, которая все время, пока процессия двигалась от дворца к Гревской площади, освещала безобразное и печальное лицо Квазимодо. Впервые испытывал он восторг удовлетворенного самолюбия. До сей поры он знал лишь унижение, презрение к своему званию и отвращение к своей особе. Невзирая на глухоту, он, словно истый папа, смаковал приветствия толпы, которую ненавидел за ее ненависть к себе. Нужды нет, что его народ был лишь сбродом шутов, калек, воров и нищих! Все же это был народ, а он его властелин. И он принимал за чистую монету эти иронические рукоплескания, эти озорные знаки почтения, к которым примешивалась, однако следует в этом сознаться, немалая толика подлинного страха. Ибо горбун был силен, ибо кривоногий был ловок, ибо глухой был свиреп – три качества, укрощавшие насмешников.

Но едва ли вновь избранный папа шутов отдавал себе ясный отчет в тех чувствах, которые испытывал он сам, и в тех, какие внушал другим. Дух, обитавший в его убогом теле, был столь же убог и несовершенен. Поэтому все, что переживал горбун в эти мгновения, оставалось для него неопределенным, сбивчивым и смутным. Только радость пронизывала его все сильнее, и все больше овладевало им чувство гордости. Его жалкое и угрюмое лицо, казалось, излучало сияние.

И вдруг, к изумлению и ужасу толпы, в ту минуту, как опьяненного величием Квазимодо торжественно проносили мимо Дома с колоннами, к нему из толпы бросился какой-то человек и гневным движением вырвал у него из рук деревянный позолоченный посох – знак его шутовского папского достоинства.

Этот смельчак был тот самый незнакомец с облысевшим лбом, который за минуту перед тем, вмешавшись в толпу, окружавшую цыганку, испугал бедную девушку своими угрожающими и полными ненависти словами. На нем была одежда духовного лица. Как только он отделился от толпы, Гренгуар, который ранее не заметил его, тотчас же его узнал.

– Ба! – удивленно воскликнул он. – Да это мой учитель герметики, отец Клод Фролло, архидьякон! Какого черта ему нужно от этого отвратительного кривого? Ведь тот его сейчас сожрет!

И действительно, в толпе послышался крик ужаса. Страшилище Квазимодо ринулся с носилок, и женщины отвернулись, чтобы не видеть, как он растерзает архидьякона.

Одним скачком Квазимодо бросился к священнику, взглянул на него и упал перед ним на колени.

Архидьякон сорвал с него тиару, сломал его посох, разорвал мишурную мантию.

Квазимодо, по-прежнему коленопреклоненный, потупил голову, сложил руки. Затем между ними завязался странный разговор на языке знаков и жестов, так как ни тот ни другой не

произносили ни слова. Архидьякон стоял выпрямившись, гневный, грозный, властный; Квазимодо распростерся перед ним, смиренный, молящий. А между тем, несомненно, Квазимодо мог бы одним пальцем раздавить священника.

Наконец, грубо встряхнув Квазимодо за мощное плечо, архидьякон жестом приказал ему встать и следовать за собой.

Квазимодо встал.

И тогда братство шутов, очнувшись от своего первоначального изумления, решило вступить за своего столь внезапно развенчанного папу. Цыгане, арготинцы и вся корпорация судебных писцов, визжа, окружили священника.

Квазимодо заслонил его собою, сжал свои атлетические кулаки и, скрежеща зубами, как разъяренный тигр, оглядел нападающих.

Священник, со своей прежней суровой важностью, сделал знак Квазимодо и молча удалился.

Квазимодо шел впереди, расталкивая толпу, заграждавшую им путь.

Когда они пробрались сквозь толпу и пересекли площадь, туча любопытных и зевак повалила вслед за ними. Тогда Квазимодо, заняв место в арьергарде, пятясь, двинулся за архидьяконом. Приземистый, взлохмаченный, чудовищный, настороженный, свирепый, облизывая свои кабаньи клыки, рыча, точно дикий зверь, он одним лишь движением или взглядом отбрасывал толпу назад.

Им дали свернуть в узкую темную улочку, куда никто не посмел следовать за ними, ибо одна мысль о скрежещущем зубами Квазимодо уже преграждала туда доступ.

– Вот так чудеса! – пробормотал Гренгуар. – Но где же, черт возьми, мне поужинать?

#### **IV. Неудобства, которым подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину**

Гренгуар пошел наугад вслед за цыганкой. Он видел, как она со своей козочкой направилась по улице Ножовщиков, и тоже повернул туда.

«Почему бы и нет?» – подумал он.

Гренгуар, искушенный философ парижских улиц, заметил, что мечтательное настроение легче всего приходит, когда преследуешь хорошенькую женщину, не зная, куда она держит путь. В этом добровольном отречении от своей свободной воли, в этом подчинении своей прихоти прихоти другого, который об этом даже не подозревает, таится смесь какой-то фантастической независимости и слепого подчинения – нечто промежуточное между рабством и свободой, и это пленяло Гренгуара, одаренного крайне неустойчивым, нерешительным и сложным умом, который совмещал все крайности, беспрестанно колебался между всеми человеческими склонностями и подавлял их одну при помощи другой. Он охотно сравнивал себя с гробом Магомета, который притягивается двумя магнитами в противоположные стороны и вечно колеблется между высью и бездной, между небесами и мостовой, между падением и взлетом, между зенитом и надиром.

Если бы Гренгуар жил в наше время, какое славное место занял бы он между классиками и романтиками!

Но он не был настолько ветхозаветным пророком, чтобы жить триста лет, а жаль! Его отсутствие создает пустоту, которая особенно сильно ощущается именно в наши дни.

Одним словом, настроение человека, не знающего, где ему переночевать, как нельзя лучше подходит для того, чтобы следовать за прохожими (особенно за женщинами), а Гренгуар был до этого большой охотник.

Итак, он задумчиво брел за молодой девушкой, которая, видя, что горожане расходятся по домам и что таверны, единственные торговые заведения, открытые в этот день, запираются, ускоряла шаг и торопила свою козочку.

«Есть же у нее какой-нибудь кров, – думал Гренгуар, – а у цыганок доброе сердце. Кто знает?..»

И многоточие, которое он мысленно поставил после этого вопроса, таило в себе какую-то пленительную мысль.

Время от времени, минуя горожан, запиравших за собой двери, он улавливал долетавшие до него обрывки разговоров, которые разбивали цепь его веселых предположений.

Вот встретились на улице два старика.

– Знаете ли, мэтр Тибо Ферникль, а ведь холодненько! (Гренгуар знал об этом уже с самого начала зимы.)

– Да еще как, мэтр Бонифаций Дизом! Видно, нам опять предстоит такая же лютая зима, как три года тому назад, в восьмидесятом году, когда вязанка дров стоила восемь солей!

– Ба, мэтр Тибо, это пустяки по сравнению с зимой тысяча четыреста седьмого года, когда морозы продолжались с самого Мартынова дня и до Сретения, да такие крепкие, что у секретаря судебной палаты через каждые три слова замерзали на пере чернила! Из-за этого нельзя было вести протокол.

А вот поодаль, стоя у открытых окон с зажженными свечами, потрескивавшими от тумана, переговаривались две соседки.

– Рассказывал ли вам супруг ваш о несчастном случае, госпожа Ла-Будрак?

– Нет. А что такое случилось, госпожа Тюркан?

– Лошадь господина Жилия Годена, нотариуса Шатле, испугалась фламандцев с их свитой и сбила с ног мэтра Филиппо Аврилло, что живет при монастыре целестинцев.

– Да что вы?

– Истинная правда.

– Лошадь горожанина! Слыханное ли это дело? Еще добро бы кавалерийская лошадь – а то лошадь горожанина!

И оба окна захлопнулись. Но нить мыслей Гренгуара была уже оборвана.

К счастью, он вскоре нашел и без труда связал ее концы благодаря цыганке и Джали, которые по-прежнему шли впереди него. Его восхищали крошечные ножки, изящные формы, грациозные движения этих двух хрупких, нежных и прелестных созданий, почти сливавшихся в его воображении. Своим взаимным пониманием и дружбой они напоминали ему юных девушек, а легкостью, подвижностью и проворством – козочек.

Между тем улицы с каждой минутой становились темнее и безлюднее. Давно прозвучал сигнал гасить огни, и лишь изредка попадался на улице прохожий или мелькал в окне огонек. Гренгуар, следуя за цыганкой, попал в запутанный лабиринт переулков, перекрестков и глухих тупиков, расположенных вокруг старинного кладбища Невинных и похожих на перепутанный кошкой моток ниток. «Вот улицы, которым не хватает логики», – подумал Гренгуар, сбитый с толку этими бесконечными поворотами, то и дело приводившими его опять на то же место. Молодая девушка, которой, очевидно, хорошо была знакома эта дорога, двигалась уверенно, все больше ускоряя шаг. Гренгуар, вероятно, заблудился бы окончательно, если бы мимоходом, на повороте одной из улиц, он не различил восьмигранного позорного столба на Рыночной площади, сквозная верхушка которого резко выделялась своей темной резьбой на фоне еще светившегося окна одного из домов улицы Верделе.

Молодая девушка давно уже заметила, что ее кто-то преследует; она то и дело с беспокойством оглядывалась, один раз она даже внезапно приостановилась, чтобы, воспользовавшись лучом света, падавшим из полуотворенной двери булочной, зорко оглядеть Гренгуара с головы до ног. Он заметил, что после этого осмотра она сделала знакомую ему гримаску и продолжала свой путь.

Эта милая гримаска заставила Гренгуара призадуматься. Несомненно, она таила в себе насмешку и презрение. Понурился, пересчитывая булыжники мостовой, он снова пошел за ней, но уже на некотором расстоянии. На одной извилистой улочке он потерял ее из виду, и в ту же минуту до него донесся ее пронзительный крик.

Он пошел быстрее.

Улица тонула во мраке, однако горевший на углу за чугунной решеткой, у подножия статуи Пречистой Девы, фитиль из пакли, пропитанной маслом, дал возможность Гренгуару разглядеть цыганку, которая отбивалась от двух мужчин, пытавшихся зажать ей рот. Бедная перепуганная козочка, наставив на них рожки, жалобно блеяла.

– Стража, сюда! – крикнул Гренгуар и бросился вперед. Один из державших девушку мужчин обернулся, и он увидел страшное лицо Квазимодо.

Гренгуар не обратился в бегство, но не сделал ни шагу вперед.

Квазимодо приблизился к нему и, ударом наотмашь заставив его отлететь на четыре шага и упасть на мостовую, стремительно скрылся во мраке, унося молодую девушку, повисшую на его плече, словно шелковый шарф. Его спутник последовал за ним, а бедная козочка побежала сзади с жалобным блеянием.

– Помогите! Помогите! – кричала несчастная цыганка.

– Стойте, бездельники, отпустите эту девку! – раздался громовой голос, и из-за угла соседней улицы внезапно появился всадник.

Это был вооруженный до зубов начальник королевских стрелков, державший саблю наголо.

Вырвав цыганку из рук ошеломленного Квазимодо, он перебросил ее поперек седла, и в ту самую минуту, когда опомнившийся от изумления ужасный горбун ринулся на него, чтобы

отбить добычу, показалось человек пятнадцать-шестнадцать вооруженных палашами стрелков, ехавших следом за своим капитаном. То был небольшой отряд королевских стрелков, проверявший ночные дозоры по распоряжению парижского прево мессира Робера д'Эстувия.



Квазимодо обступили, схватили, скрутили веревками. Он рычал, бесновался, кусался; будь это днем, один вид его искаженного гневом лица, ставшего от этого еще отвратительней,

несомненно, обратил бы в бегство весь отряд. Но ночь лишила Квазимодо самого страшного его оружия – уродства. Спутник Квазимодо исчез во время свалки. Цыганка, грациозно выпрямившись на седле и положив руки на плечи молодого человека, несколько секунд пристально глядела на него, словно восхищенная его приятной внешностью и любезной помощью, которую он оказал ей. Она первая нарушила молчание и, придав своему нежному голосу еще больше нежности, спросила:

– Как ваше имя, господин офицер?

– Капитан Феб де Шатопер к вашим услугам, моя красавица, – приосанившись, ответил офицер.

– Благодарю вас, – промолвила она.

И пока капитан Феб самодовольно покручивал свои усы, подстриженные по-бургундски, она, словно падающая стрела, соскользнула с лошади и исчезла быстрее молнии.

– Пуп дьявола! – воскликнул капитан и приказал стянуть потуже ремни, которыми был связан Квазимодо. – Я предпочел бы оставить у себя девчонку!

– Ничего не поделаешь, капитан, – заметил один из стрелков, – пташка упорхнула, нетопырь остался.

## У. Неудачи продолжаютсЯ

Оглушенный падением, Гренгуар продолжал лежать на углу улицы, у подножия статуи Пречистой Девы. Мало-помалу он стал приходить в себя; несколько минут он еще пребывал в каком-то не лишенном приятности полузабытьи, причем воздушные образы цыганки и козочки сливались в его сознании с полновесным кулаком Квазимодо. Но это состояние длилось недолго. Острое ощущение холода в той части его тела, которая соприкасалась с мостовой, заставило его очнуться и привело в порядок его мысли.

– Отчего мне так холодно? – спохватился он и только тут заметил, что лежит почти в самой середине сточной канавы.

– Черт возьми этого горбатого циклопа! – проворчал он сквозь зубы и хотел приподняться, но был настолько оглушен падением и настолько разбит, что ему поневоле пришлось остаться на месте. Впрочем, руками он владел свободно; зажав нос, он покорился своей участи.

«Парижская грязь, – размышлял он (ибо был твердо уверен, что этой канаве суждено послужить ему ложем, —

А коль на ложе сна не спится, нам остается размышлять!), —

парижская грязь как-то особенно зловонна. Она, по-видимому, содержит в себе очень много летучей и азотистой соли, так, по крайней мере, полагает мэтр Никола Фламель и герметики...»

Слово «герметики» вдруг навело его на мысль об архидьяконе Клоде Фролло. Он вспомнил произошедшую на его глазах сцену насилия; вспомнил, что цыганка отбивалась от двух мужчин, что у Квазимодо был сообщник, и суровый и надменный образ архидьякона смутно промелькнул в его памяти.

«Вот было бы странно!» – подумал он и, взяв все это за основание, принялся возводить причудливое здание гипотез – сей карточный домик философов.

– Так и есть! Я окончательно замерзаю! – воскликнул он, снова возвращаясь к действительности.

И правда, положение поэта становилось все более невыносимым. Каждая частица воды отнимала частицу тепла у его тела, и температура его мало-помалу самым неприятным образом стала уравниваться с температурой ручья.

А тут еще на Гренгуара обрушилась новая беда.

Ватага ребятишек, этих маленьких босоногих дикарей, которые, под бессмертным прозвищем «гаменов», испокон веку гранят мостовые Парижа и которые еще во времена нашего детства швыряли камнями в каждого из нас, когда мы по вечерам выходили из школы, за то только, что на наших панталонах не было дыр, – стая этих маленьких озорников, нисколько не заботясь о том, что все кругом спали, с громким хохотом и криком бежала к тому перекрестку, где лежал Гренгуар. Они волокли за собой какой-то бесформенный мешок, и один стук их сабо о мостовую разбудил бы мертвого. Гренгуар, душа которого еще не совсем покинула тело, немного приподнялся.

– Эй! Генекен Дандеш! Эй! Жеан Пенсбурд! – во все горло перекликались они. – Старикашка Эташ Мубон, что торговал железом на углу улицы, умер! Мы раздобыли его соломенный тюфяк и сейчас разведем праздничный костер! Сегодня праздник в честь фламандцев!

Подбежав к канаве и не заметив там Гренгуара, они швырнули тюфяк прямо на него. Тут же один из них взял пучок соломы и запалил его от светильни, горевшей перед статуей Пречистой Девы.

– Господи помилуй, – пробормотал Гренгуар, – кажется, теперь мне будет слишком жарко!

Минута была критическая. Гренгуар мог попасть из одной беды в другую. Он сделал нечеловеческое усилие, на какое способен только фальшивомонетчик, которого намереваются бросить в кипящую воду. Вскочив на ноги, он швырнул соломенный тюфяк на ребятишек и пустился бежать.

– Пресвятая Дева! – воскликнули дети. – Торговец железом воскрес! – И бросились врассыпную.

Поле битвы осталось за тюфяком. Бельфоре, отец Ле Жюж и Корозе свидетельствуют, что на следующее утро тюфяк этот был подобран духовенством ближайшего прихода и торжественно отнесен в ризницу церкви Сент-Опортюне, ризничий которой вплоть до 1789 года извлекал презрядный доход из великого чуда, совершенного статуей Богоматери, стоявшей на углу улицы Моконсей. Одним своим присутствием в знаменательную ночь с 6 на 7 января 1482 года эта статуя изгнала беса из покойного Эсташа Мубона, который, желая надуть дьявола, хитро запрятал свою душу в соломенный тюфяк.

## VI. Разбитая кружка

Некоторое время Гренгуар бежал со всех ног сам не зная куда, натыкаясь на углы домов при поворотах, перескакивая через множество канавок, пересекая множество переулков, тупиков и перекрестков в поисках спасения и выхода, сквозь все излучины старой Рыночной площади и разведывая в паническом страхе то, что великолепная латынь хартий называет «*tota via, cheminum et viaria*»<sup>22</sup>. Вдруг наш поэт остановился – во-первых, чтобы перевести дух, а во-вторых – его точно за шиворот схватила неожиданно возникшая в его уме дилемма.

«Мне кажется, мэтр Пьер Гренгуар, – сказал он себе, прикладывая палец ко лбу, – что вы просто сошли с ума. Куда вы бежите? Ведь маленькие озорники испугались вас ничуть не меньше, чем вы испугались их. По-моему, вам прекрасно слышен был стук их сабо, когда они удирали по направлению к югу, в то время как вы бросились к северу. Значит, одно из двух: или они обратились в бегство, и тогда этот соломенный тюфяк, брошенный ими с перепугу, и есть то гостеприимное ложе, за которым вы гоняетесь чуть ли не с самого утра и которое вам чудесным образом посылает Пресвятая Дева в награду за сочиненное вами в ее честь моралите, сопровождаемое торжественными шествиями и переодеваниями; или же дети не убежали и, следовательно, подожгли тюфяк – в таком случае у вас будет великолепный костер, около которого вам приятно будет обсушиться, согреться, и вы немного воспрянете духом. Так или иначе – в виде ли хорошего костра, в виде ли хорошего ложа – соломенный тюфяк является для вас даром небес. Может быть, Пресвятая Дева Мария, стоящая на углу улицы Моконсей, только ради этого и послала смерть Эсташу Мубону, и с вашей стороны очень глупо удирать без оглядки, точно пикардиец от француза, оставляя позади себя то, что вы сами же ищете. Пьер Гренгуар, вы просто болван!»

Он повернул обратно и, осматриваясь, обследуя, держа нос по ветру, а ушки на макушке, пустился на поиски благословенного тюфяка. Но все его старания были напрасны. Перед ним был хаос домов, тупиков, перекрестков, темных переулков, среди которых, терзаемый сомнениями и нерешительностью, он окончательно завяз, чувствуя себя беспомощней, чем в лабиринте замка Турнель. Потеряв терпение, он воскликнул:

– Будь прокляты все перекрестки! Это дьявол сотворил их по образу и подобию своих вил!

Это восклицание несколько облегчило его, а красноватый отблеск, который мелькнул перед ним в конце длинной и узкой улочки, вернул ему мужество.

– Слава богу! – воскликнул он. – Это пылает мой тюфяк. – И, уподобив себя кормчему судна, которое терпит крушение в ночи, он благоговейно добавил: – *Salve, maris stella*<sup>23</sup>.

Относились ли эти слова хвалебного гимна к Пречистой Деве или к соломенному тюфяку – это для нас осталось невыясненным.

Едва успел он сделать несколько шагов по этой длинной, отлогой, немощеной и чем дальше, тем все более грязной и крутой улочке, как заметил нечто весьма странное. Улица отнюдь не была пустыня: то тут, то там вдоль нее тащились какие-то неясные, бесформенные фигуры, направляясь к мерцавшему в конце ее огоньку, подобно неповоротливым насекомым, которые ночью ползут к костру пастуха, перебираясь со стебелька на стебелек.

Ничто не делает человека столь склонным к рискованным предприятиям, как ощущение невесомости своего кошелька. Гренгуар продолжал подвигаться вперед и вскоре нагнал ту из этих гусениц, которая ползла медленнее других. Приблизившись к ней, он увидел, что это был жалкий калека, который передвигался, подпрыгивая на руках, словно раненый паук-сенокосец,

<sup>22</sup> Вся дорога, путь и относящееся к дороге (*лат.*).

<sup>23</sup> Радуйся, звезда моря! (*лат.*) – католический церковный гимн.

у которого только и осталось что две ноги. Когда Гренгуар проходил мимо паукообразного существа с человеческим лицом, оно жалобно затынуло:

– *La buona mancia, signor! La buona mancia!*<sup>24</sup>

– Чтоб черт тебя побрал, да и меня вместе с тобой, если я хоть что-нибудь понимаю из того, что ты там бормочешь! – сказал Гренгуар и пошел дальше.

Нагнав еще одну из этих бесформенных движущихся фигур, он внимательно оглядел ее. Это был калека, колченогий и однорукий одновременно и настолько изувеченный, что сложная система костылей и деревяшек, поддерживавших его, придавала ему сходство с движущимися подмостками каменщика. Гренгуар, имевший склонность к благородным и классическим сравнениям, мысленно уподобил его живому треножнику Вулкана.

Этот живой треножник, поравнявшись с ним, поклонился ему, но, сняв шапку, он тут же подставил ее, словно чашку для бритвы, к самому подбородку Гренгуара и оглушительно крикнул:

– *Señor caballero, para comprar un pedazo de pan!*<sup>25</sup>

«И этот тоже как будто разговаривает, но на очень странном наречии. Он счастливее меня, если понимает его», – подумал Гренгуар.

Тут его мысли приняли иное направление, и, хлопнув себя по лбу, он пробормотал:

– Кстати, что они хотели сказать сегодня утром словом «Эсмеральда»?

Он ускорил шаг, но нечто в третий раз преградило ему путь. Это нечто или, вернее, некто был бородастый низенький слепец еврейского типа, который греб своей палкой, как веслом; его тащила на буксире большая собака. Слепец прогнусавил с венгерским акцентом:

– *Facitote caritatem!*<sup>26</sup>

– Слава богу! – заметил Гренгуар. – Наконец-то хоть один говорит человеческим языком. Видно, я кажусь очень добрым, если, несмотря на мой тощий кошелек, у меня все же просят милостыню. Друг мой, – и он повернулся к слепцу, – на прошлой неделе я продал мою последнюю рубашку, или, говоря на языке Цицерона, так как никакого иного ты, по-видимому, не понимаешь: *vendidi hebdomade nuper transita meam ultimam chemisam*<sup>27</sup>.

Сказав это, Гренгуар повернулся спиной к нищему и продолжал свой путь. Но вслед за ним прибавил шагу и слепой; тогда и паралитик, и безногий поспешили за Гренгуаром, громко стуча по мостовой костылями и деревяшками. Потом все трое, преследуя его по пятам и натываясь друг на друга, завели свою песню:

– *Caritatem!*.. – начинал слепой.

– *La buona mancia!*.. – подхватывал безногий.

– *Un pedazo de pan!*<sup>28</sup> – заканчивал музыкальную фразу паралитик.

Гренгуар заткнул уши.

– Да это столпотворение вавилонское! – воскликнул он и бросился бежать. Побежал слепец. Побежал паралитик. Побежал и безногий.

И по мере того как он углублялся в переулочек, вокруг него все возрастало число безногих, слепцов, паралитиков, хромых, безруких, кривых и покрытых язвами прокаженных: одни выползали из домов, другие из смежных переулочков, а кто из подвальных дыр, и все, рыча, воя, визжа, спотыкаясь, по брюхо в грязи, словно улитки после дождя, устремлялись к свету.

Гренгуар, по-прежнему сопровождаемый своими тремя преследователями, растерявшись и не слишком ясно отдавая себе отчет в том, чем все это может закончиться, шел вместе с

---

<sup>24</sup> Подайте, синьор! Подайте! (*ит.*)

<sup>25</sup> Сеньор, подайте на кусок хлеба! (*исп.*)

<sup>26</sup> Подайте милостыню! (*лат.*)

<sup>27</sup> На прошлой неделе я продал свою последнюю рубашку (*лат.*). Следовало бы сказать: «*camisiam*», а не «*chemisam*».

<sup>28</sup> Милостыню! (*лат.*) Подайте! (*ит.*) Кусок хлеба! (*исп.*)

другими, обходя хромых, перескакивая через безногих, увязая в этом муравейнике калек, как судно некоего английского капитана, которое завязло в косяке крабов.

Он попробовал повернуть обратно, но было уже поздно. Весь этот легион с тремя нищими во главе сомкнулся позади него. И он продолжал идти вперед, понуждаемый непреодолимым напором этой волны, объявшим его страхом, а также своим помраченным рассудком, которому все происходившее представлялось каким-то ужасным сном.

Он достиг конца улицы. Она выходила на обширную площадь, где в смутном ночном тумане были рассеяны тысячи мерцающих огоньков. Гренгуар бросился туда, надеясь, что проворные ноги помогут ему ускользнуть от трех вцепившихся в него жалких привидений.

– *Onde vas, homme?*<sup>29</sup> – окликнул его паралитик и, отшвырнув костыли, помчался за ним, обнаружив пару самых здоровенных ног, которые когда-либо мерили мостовую Парижа.

Неожиданно встав на ноги, безногий нахлобучил на Гренгуара свою круглую железную чашку, а слепец глянул ему в лицо сверкающими глазами.

– Где я? – спросил поэт, ужаснувшись.

– Во Дворе чудес, – ответил нагнавший его четвертый призрак.

– Клянусь душой, это правда! – воскликнул Гренгуар. – Ибо я вижу, что слепые прозревают, а безногие бегают, но где же Спаситель?

В ответ послышался зловеющий хохот.

Злополучный поэт оглянулся кругом. Он и в самом деле очутился в том страшном Дворе чудес, куда в такой поздний час никогда не заглядывал ни один порядочный человек; в том магическом круге, где бесследно исчезали городские стражники и служители Шатле, осмелившиеся туда проникнуть; в квартале воров – омерзительной бородавке на лице Парижа; в клоаке, откуда каждое утро вырывался и куда каждую ночь вливался обратно выступавший из берегов столичных улиц гниющий поток пороков, нищенства и бродяжничества; в том чудовищном улье, куда каждый вечер слетались со своей добычей трутни общественного строя; в том своеобразном госпитале, где цыган, расстрига-монах, развратившийся школяр, негодяи всех национальностей – испанской, итальянской, германской, всех вероисповеданий – иудейского, христианского, магометанского и языческого, покрытые язвами, сделанными кистью и красками, и просившие милостыню днем, превращались ночью в разбойников. Словом, он очутился в громадной гардеробной, где в ту пору одевались и раздевались все лицедеи бессмертной комедии, которую грабеж, проституция и убийство играют на мостовых Парижа.

Это была обширная площадь неправильной формы и дурно вымощенная, как и все площади того времени. Там и сям на ней горели костры, вокруг которых кишели странные кучки людей. Люди эти уходили, приходили, шумели. Слышался пронзительный смех, хныканье ребят, голоса женщин. Руки и головы этой толпы тысячью черных причудливых силуэтов вычерчивались на светлом фоне костров. Изредка там, где, сливаясь со стелющимися по земле темными гигантскими тенями, дрожал отблеск огня, можно было различить пробегающую собаку, похожую на человека, и человека, похожего на собаку. В этом городе, как в пандемониуме, казалось, стерлись все видовые и расовые границы. Мужчины, женщины и животные, возраст, пол, здоровье и недуги – все в этой толпе казалось общим, все делалось согласно; все слилось, перемешалось, наслоилось одно на другое, и на каждом лежал какой-то общий для всех отпечаток.

Несмотря на свою растерянность, Гренгуар при колеблющемся и слабом отсвете костров мог разглядеть вокруг всей огромной площади мерзкое обрамление, образуемое ветхими домами, фасады которых, источенные червями, покоробленные и жалкие, пронзенные каждый одним или двумя освещенными слуховыми оконцами, в темноте казались ему собравшимися

---

<sup>29</sup> Эй, куда бежишь? (*исп.*)

в кружок огромными старушечьими головами, чудовищными и хмурыми, которые, мигая глазами, смотрели на шабаш.

То был какой-то новый мир, невиданный, неслыханный, уродливый, пресмыкающийся, копошащийся, неправдоподобный.

Все сильнее цепenea от страха, схваченный, как в тиски, тремя нищими, оглушенный блеющей и лающей вокруг него толпой, злополучный Гренгуар пытался собраться с мыслями и припомнить, не суббота ли нынче. Но усилия его были тщетны: нить его сознания и памяти была порвана, и, сомневаясь во всем, колеблясь между тем, что видел, и тем, что чувствовал, он задавал себе неразрешимый вопрос: «Если я существую, существует ли все окружающее? Если существует все окружающее, существую ли я?»

В это время среди шума и гама окружавшей его толпы раздался отчетливый крик:

– Отведем его к королю! Отведем его к королю!

– Пресвятая Дева, – пробормотал Гренгуар, – я уверен, что здешний король – козел.

– К королю, к королю! – повторила толпа.

Его поволокли. Каждый старался вцепиться в него. Но трое нищих не упустили добычу. «Он наш!» – рычали они, вырывая его из рук остальных. Камзол поэта, и без того дышавший на ладан, в этой борьбе испустил последнее дыхание.

Пересекая ужасную площадь, он почувствовал, что его мысли прояснились. Вскоре ощущение реальности вновь вернулось к нему, и он стал привыкать к окружающей обстановке. Вначале фантазия поэта, а может быть, самая простая и прозаическая причина – его голодный желудок – породили словно дымку, словно отделивший его от окружающего туман, сквозь который он различал все лишь в несвязных сумерках кошмара, во мраке сновидений, придающих зыбкость контурам, искажающих формы, сгучивающих предметы в груды непомерной величины, превращая вещи в химеры, а людей в призраки. Постепенно эта галлюцинация уступила место впечатлениям менее сбивчивым и менее преувеличенным. Вокруг него как бы начало светать; действительность била ему в глаза, она лежала у ног и мало-помалу разрушала всю ту ужасающую поэзию, которая, казалось ему, окружала его. Ему пришлось убедиться, что перед ним не Стикс, а грязь, что его обступили не демоны, а воры, что дело идет не о его душе, а попросту о его жизни (ибо у него не было денег – этого драгоценного посредника мира, который столь успешно становится между честным человеком и бандитом). Наконец, взглядевшись поближе и с большим хладнокровием в эту оргию, он понял, что попал не на шабаш, а в кабак.

Двор чудес и был кабак, но кабак разбойников, весь залитый не только вином, но и кровью.

Когда одетый в лохмотья конвой доставил его наконец к цели их путешествия, то представившееся его глазам зрелище отнюдь не было способно вновь вернуть его к поэтическому настроению: оно было лишено даже поэзии ада. То была самая настоящая прозаическая и грубая действительность питейного дома. Если бы дело происходило не в XV столетии, то мы сказали бы, что Гренгуар от Микеланджело спустился до Калло.

Вокруг большого костра, пылавшего на широкой круглой каменной плите и лизавшего своими огненными языками раскаленные ножки порожнего в эту минуту тагана, было кое-как расставлено несколько тухлых столов, и, очевидно, без участия какого-либо опытного лакея, иначе он позаботился бы о том, чтобы они стояли параллельно или, по крайней мере, не соприкасались под таким острым углом. На столах поблескивали кружки, мокрые от вина и браги, а вокруг этих кружек собралось множество пьяных физиономий, раскрасневшихся от вина и огня. Тут толстопузый весельчак звонко целовал обрюзгшую дебелую девку. Там «забавник» – на воровском жаргоне нечто вроде самозванного солдата, – посвистывая, снимал тряпицы со своей фальшивой раны и разминал здоровое и крепкое колено, запеленатое с утра в тысячу бинтов, а какой-то хилак, наоборот, подготавливал для себя на завтра из чистотела и бычачьей крови «христовы язвы» на ноге. Через два стола от них «святоша», одетый в полное

облачение паломника, монотонно гнусил «тропарь Царицы Небесной». Неподалеку неопытный припадочный брал уроки падучей у опытного эпилептика, который учил его, как, жуя кусок мыла, можно вызвать пену на губах. Здесь же страдающий водянкой освобожден от своих мнимых отеков, и сидевшие за тем же столом четыре или пять воровок, пререкавшихся из-за украденного вечером ребенка, вынуждены были зажать себе носы.

Все эти чудеса два века спустя, по словам Соваля, казались столь занятными при дворе, что были для потехи короля изображены во вступлении к балету «Ночь» в четырех актах, поставленному в театре Пти-Бурбон. «Никогда еще, – добавляет очевидец, присутствовавший при этом в 1653 году, – внезапные метаморфозы Двора чудес не были воспроизведены столь удачно. Изящные стихи Бенсерада подготовили нас к представлению».

Повсюду слышались раскаты грубого хохота и непристойные песни. Люди судачили, ругались, твердили свое, не слушая соседей, чокались кружками, а под их стук вспыхивали ссоры, и тогда драчуны разбитыми кружками рвали друг на друге рубища.

Большая собака, сидя у костра поджав хвост, пристально глядела на огонь. При этой оргии присутствовало несколько детей. Украденный ребенок плакал и кричал. Другой, четырехлетний карапуз, молча сидел на высокой скамье, свесив ножки под стол, доходивший ему до подбородка. Еще один степенно размазывал пальцем по столу оплывающее со свечи сало. Наконец, четвертый, совсем крошка, сидел в грязи, еле видный из-за котла, который он скреб черепицей, извлекая из него звуки, от коих Страдивариус упал бы в обморок.

Возле костра возвышалась бочка, а на бочке восседал нищий. Это был король на своем троне.

Трое бродяг, державших Гренгуара, подтащили его к бочке, и на одну минуту дикий разгул затих, только ребенок продолжал скрести в котле.

Гренгуар не осмеливался ни вздохнуть, ни взглянуть.

– *Nombre, quita tu sombrero!*<sup>30</sup> – сказал один из трех плутов, завладевших им, и, прежде чем Гренгуар успел сообразить, что это могло означать, с него стащили шляпу. Это была плохонькая шляпенка, но еще пригодная и в солнце, и в дождь. Гренгуар вздохнул.

Тем временем король с высоты своей бочки спросил:

– Это что за прощелыга?

Гренгуар вздрогнул. Этот голос, пускай измененный звучащей в нем угрозой, все же напомнил ему другой голос – тот, который нынче утром нанес первый удар его мистерии, прогнусавив во время представления: «Подайте Христа ради!» Гренгуар взглянул вверх. Перед ним действительно был Клопен Труйльфу.

Несмотря на знаки королевского достоинства, на Клопене Труйльфу было все то же рубище. Но язва на его руке уже исчезла. Он держал плетку из сырмятных ремней, употреблявшуюся в те времена пешими стражниками, чтобы отеснять толпу, и носившую название «метелка». Голову Клопена венчал убор с подобием валика вместо полей, закрытый сверху, и трудно было разобрать, детская ли это шапочка или царская корона, до такой степени одно было похоже на другое.

Гренгуар, узнав в короле Двора чудес нищего из большого зала дворца, сам не зная почему, приободрился.

---

<sup>30</sup> А ну, шляпу долой! (*исп.*)



– Мэтр... – пробормотал он. – Монсеньор... Сир... Как вас прикажете величать? – вымолвил он наконец, достигнув постепенно высших степеней титулования и не зная ни как величать его дальше, ни как спустить с этих высот.

– Величай меня как угодно – монсеньор, ваше величество или приятель. Только не мямли. Что ты можешь сказать в свое оправдание?

«В свое оправдание? – подумал Гренгуар. – Плохо дело».

И, запинаясь, ответил:

– Я тот самый, который нынче утром...

– Клянусь когтями дьявола, – перебил его Клопен, – говори свое имя, прощельга, и больше ничего! Слушай. Ты находишься в присутствии трех могущественных властелинов: меня, Клопена Труйльфу – короля Алтынного, преемника великого кесаря, верховного властителя королевства Арго; Матиаса Гуниади Спикали, герцога египетского и цыганского, – вон того желтолицего старика, у которого голова обвязана тряпкой, и Гиольома Руссо, императора Галилеи, – того толстяка, который нас не слушает, а обнимает потаскуху. Мы твои судьи. Ты проник в царство Арго, не будучи его подданным, ты преступил законы нашего города. Если ты

не деловой парень, не христарадник или погорелец, что на наречии порядочных людей значит вор, нищий или бродяга, то должен понести за это наказание. Кто ты такой? Оправдывайся! Скажи свое звание.

– Увы! – ответил Гренгуар. – Я не имею чести состоять в их рядах... Я автор...

– Довольно, – не давая ему договорить, отрезал Труйльфу. – Ты будешь повешен. Это совсем не сложно, господа добропорядочные граждане! Как вы обращаетесь с нами, когда мы попадаем в ваши руки, так и мы обращаемся с вами здесь, у себя. Закон, применяемый вами к бродягам, бродяги применяют к вам. Ваша вина, если он жесток. Надо же иногда полюбоваться на гримасу порядочного человека в пеньковом ожерелье; это придает виселице нечто почтенное. Ну пошевеливайся, приятель! Раздай-ка поживей свое тряпье вот этим барышням. Я прикажу тебя повесить на потеху бродягам, а ты пожертвуй им на выпивку свой кошелек. Если тебе необходимо поханжить, то у нас среди другого хлама есть отличный каменный Бог Отец, которого мы украли в церкви Сен-Пьер-о-Беф. В твоём распоряжении четыре минуты, чтобы навязать ему свою душу.

Эта речь звучала устрашающе.

– Здорово сказано, клянусь душой! – воскликнул царь галилейский, разбивая свою кружку, чтобы подпереть черепком ножку стола. – Право, Клопен Труйльфу проповедует не хуже самого святейшего папы!

– Всемиловнейшие императоры и короли, – хладнокровно сказал Гренгуар (каким-то чудом он снова обрел уверенность в себе и говорил решительно), – опомнитесь! Я Пьер Гренгуар, поэт, автор той самой мистерии, которую нынче утром представляли в большом зале дворца.

– А! Так это ты, мэтр! – воскликнул Клопен. – Я тоже там был, ей-богу! Ну, дружище, если ты докучал нам утром, это еще не резон миловать тебя вечером!

«Нелегко мне будет вывернуться из беды», – подумал Гренгуар, но тем не менее сделал еще одну попытку.

– Не понимаю, почему, – сказал он, – поэты не зачислены в нищенствующую братию. Бродягой был Эзоп, нищим был Гомер, вором был Меркурий...

– Ты что нам зубы-то заговариваешь своей тарабарщиной! – заорал Клопен. – Тьфу, пропасть! Дай себя повесить и не кобенясь!

– Простите, всемиловнейший владыка королевства, – ответил Гренгуар, упорно отставивая свои позиции. – Об этом стоит подумать... одну минуту. Выслушайте меня... Ведь не осудите же вы меня, не выслушав...

Но его жалкий голос был заглушен раздавшимся вокруг него шумом. Маленький мальчик с еще большим остервенением скреб котел, а в довершение всего какая-то старуха поставила на раскаленный таган полную сковороду сала, трещавшего на огне, словно орава ребятишек, преследующая карнавальную маску.

Тем временем Клопен Труйльфу, посоветовавшись с герцогом египетским и вдребезги пьяным галилейским царем, пронзительно крикнул толпе:

– Молчать!

Но так как ни котел, ни сковороды не внимали ему и продолжали свой дуэт, то, соскочив с бочки, он одной ногой дал пинка котлу, который откатился шагов на десять от ребенка, другой – спихнул сковородку, причем все сало опрокинулось в огонь, и снова величественно взгромоздился на свой трон, не обращая внимания ни на заглушенные всхлипывания ребенка, ни на воркотню старухи, чей ужин сгорал великолепным белым пламенем.

Труйльфу подал знак, и герцог, император, мазурики и домушники выстроились полумесяцем, в центре которого стоял Гренгуар, все еще находившийся под крепкой стражей. Это было полукружие, составленное из лохмотьев, рубищ, мишуры, вил, топоров, оголенных здоровенных рук, дрожащих от пьянства ног, мерзких и осоловелых, отупевших рож. За этим

«круглым столом» нищеты, во главе, словно дож этого сената, словно король этого пэрства, словно папа этого конклава, возвышался Клопен Труйльфу – прежде всего благодаря высоте своей бочки, а затем благодаря грозному и свирепому высокомерию, которое, зажигая его взор, смягчало в его диком облике животные черты разбойничьей породы. Это была голова вепря среди свиных рыл.

– Послушай, – обратился он к Гренгуару, поглаживая жесткой рукой свой уродливый подбородок, – я не вижу причины, почему бы нам тебя не повесить. Правда, тебе это, по-видимому, противно, но это вполне понятно: вы, горожане, к этому не привыкли и воображаете, что это невеста что! Впрочем, мы тебе зла не делаем. Вот тебе средство выпутаться из затруднения. Хочешь примкнуть к нашей братии?

Легко представить себе, какое действие произвело это предложение на Гренгуара, уже потерявшего надежду сохранить свою жизнь и готового сложить оружие. Он живо ухватился за него.

– Конечно хочу, еще бы! – воскликнул он.

– Ты согласен вступить в братство коротких клинков? – продолжал Клопен.

– Да, именно в братство коротких клинков, – ответил Гренгуар.

– Признаешь ли ты себя членом общины вольных горожан? – спросил король Алтынный.

– Да, признаю себя членом общины вольных горожан.

– Подданным королевства Арго?

– Да.

– Бродягой?

– Бродягой.

– От всей души?

– От всей души.

– Имей в виду, – заметил король, – что все равно ты будешь повешен.

– Черт возьми! – воскликнул поэт.

– Разница заключается в том, – невозмутимо продолжал Клопен, – что ты будешь повешен несколько позднее, более торжественно, за счет славного города Парижа, на отличной каменной виселице и порядочными людьми. Это все-таки утешение.

– Да, конечно, – согласился Гренгуар.

– У тебя будут и другие преимущества. В качестве вольного горожанина ты не должен будешь платить ни за чистку и освещение улиц, ни в пользу бедных; а каждый парижанин вынужден это делать.

– Аминь, – ответил поэт, – я согласен. Я бродяга, арготинец, вольный горожанин, короткий клинок и все, что вам угодно. Всем этим я был уже давно, ваше величество король Алтынный, ибо я философ. А как вам известно, *et omnia in philosophia, omnes in philosopho continentur*<sup>31</sup>.

Король Алтынный насупился:

– За кого ты меня принимаешь, приятель? Что ты там болтаешь на арго венгерских евреев? Я не говорю по-еврейски. Я больше не граблю, я выше этого – я убиваю. Перерезать горло – это да, а срезать кошелек – ну нет!

Гренгуар силился вставить какие-то оправдания в этот поток слов, которым гнев придавал все большую отрывистость.

– Ваше величество, прошу вас простить меня, – бормотал он, – я говорил по-латыни, а не по-еврейски.

– А я тебе говорю, – с запальчивостью возразил Клопен, – что я не еврей и прикажу тебя повесить, отродье синагоги, вместе вот с этим ничтожным иудейским торгашом, который

---

<sup>31</sup> Философия и философы всеобъемлющи (*лат.*).

торчит рядом с тобой и которого я надеюсь вскоре увидеть пригвожденным к прилавку, как фальшивая монета.

С этими словами он указал пальцем на низенького бородатого венгерского еврея, который докучал Гренгуару своим «*facitote caritatem*», а теперь, не разумея никакого иного языка, изумленно взирал на короля Алтынного, не понимая, чем вызвал его гнев.

Наконец его величество Клопен успокоился.

– Итак, прощелыга, – обратился он к нашему поэту, – значит, ты хочешь стать бродягой?

– Конечно, – ответил поэт.

– Хотеть – этого еще мало, – грубо ответил Клопен. – Хорошими намерениями похлебки не сдобришь, с ними разве только в рай попадешь. Но рай и Арго – вещи разные. Чтобы стать арготинцем, надо доказать, что ты на что-нибудь годен. Вот попробуй обшарь чучело.

– Я обшарю кого вам будет угодно, – ответил Гренгуар.

Клопен подал знак. Несколько арготинцев вышли из полукруга и вскоре вернулись. Они притащили два столба с лопатообразными подпорками у основания, которые придавали им устойчивость, и с поперечным брусом сверху. Все в целом представляло прекрасную передвижную виселицу, и Гренгуар имел удовольствие видеть, как ее воздвигли перед ним в мгновение ока. Все в этой виселице было в исправности, даже веревка, грациозно качавшаяся под перекладиной.

«К чему они все это мастерят?» – с некоторым беспокойством подумал Гренгуар.

Звон колокольчиков, раздавшийся в эту минуту, положил конец его тревоге. Звенело чучело, подвешенное бродягами за шею к виселице; это было нечто вроде вороньего пугала, наряженного в красную одежду и увешанного таким множеством колокольчиков и бубенчиков, что их хватило бы на украшение упряжи тридцати кастильских мулов. Некоторое время, пока веревка раскачивалась, колокольчики звенели, затем стали постепенно затихать и, когда чучело, подчиняясь закону маятника, вытеснившего водяные и песочные часы, повисло неподвижно, совсем замолкли.

Клопен указал Гренгуару на старую, расшатанную скамью, стоявшую под чучелом:

– Ну-ка влезай!

– Черт побери, – запротестовал Гренгуар, – ведь я могу сломать себе шею. Ваша скамейка хромает, как двустишие Марциала: размер одной ноги у нее – гексаметр, другой – денгамтр.

– Влезай! – повторил Клопен.

Гренгуар взобрался на скамью и, побалансировав, нашел наконец равновесие.

– А теперь, – продолжал владыка королевства Арго, – зацепи правой ногой левое колено и встань на носок левой ноги.

– Ваше величество, – взмолился Гренгуар, – вы непременно хотите, чтобы я повредил себе что-нибудь?

Клопен покачал головой:

– Послушай, приятель, ты слишком много болтаешь! Вот в двух словах, что от тебя требуется: ты должен, как я уже говорил, встать на носок левой ноги; в этом положении ты дотянешься до кармана чучела, обшаришь его и вытащишь оттуда кошелек. Если ты изловчишься сделать это так, что ни один колокольчик не звякнет, – твое счастье: ты станешь бродягой. Тогда нам останется только отлупить тебя хорошенько, на что уйдет восемь дней.

– Черт возьми, – воскликнул Гренгуар, – придется быть осторожным! А ежели колокольчики зазвонят?

– Тогда тебя повесят. Понимаешь?

– Ничего не понимаю, – ответил Гренгуар.

– Ну так слушай еще раз. Ты обшаришь чучело и вытащишь у него из кармана кошелек; если в это время звякнет хоть один колокольчик, ты будешь повешен. Понял?

– Да, ваше величество, понял. Ну а ежели нет?

– Если тебе удастся выкрасть кошелек так, что никто не услышит ни звука, тогда ты – бродяга, и в продолжение восьми дней кряду мы будем тебя лупить. Теперь, я надеюсь, ты понял?

– Нет, ваше величество, я опять ничего не понимаю. В чем же мой выигрыш, коли в одном случае я буду повешен, в другом – избит?

– А то, что ты станешь бродягой, – возразил Клопен, – этого, по-твоему, мало? Бить мы тебя будем для твоей же пользы, это приучит тебя к побоям.

– Покорно благодарю, – ответил поэт.

– Ну, живей! – закричал король, топнув ногой по бочке, загудевшей, словно огромный барабан. – Обшарь чучело, и баста! Предупреждаю тебя в последний раз: если звякнет хоть один бубенец, будешь висеть на его месте.

Банда арготинцев, покрыв слова Клопена рукоплесканиями, безжалостно смеясь, выстроилась вокруг виселицы. Тут Гренгуар понял, что служил им только потехой и, следовательно, мог ожидать от них чего угодно. Итак, не считая слабой надежды на успех в навязанном ему страшном испытании, уповать ему было больше не на что. Он решил попытать счастья, но предварительно обратился с пламенной мольбой к чучелу, которое намеревался обобрать, ибо, казалось, легче умиловить его, чем бродяг. Мириады колокольчиков с крошечными медными язычками представлялись ему мириадами разверстых змеиных пастей, готовых зашипеть и ужалить его.

– О! – пробормотал он. – Неужели возможно, чтобы моя жизнь зависела от малейшего колебания самого крошечного колокольчика? О! – молитвенно сложив руки, произнес он. – Звоночки, не трезвоньте, колокольчики, не звените, бубенчики, не бренчите!

Он сделал еще одну попытку переубедить Труйльфу.

– А ежели налетит порыв ветра? – спросил он.

– Ты будешь повешен, – без запинки ответил тот.

Видя, что ему нечего ждать ни отсрочки, ни промедления, ни возможности как-либо отвертеться, Гренгуар мужественно покорился своей участи. Он обхватил правой ногой левую, встал на левый носок и протянул руку; но в ту самую минуту, когда он прикоснулся к чучелу, тело его, опиравшееся лишь на одну ногу, пошатнулось на скамье, которой тоже не хватало одной ноги; чтобы удержаться, он невольно ухватился за чучело и, потеряв равновесие, оглушенный роковым трезвонном тысячи колокольчиков, тяжело грохнулся на землю; чучело от толчка сначала описало круг, затем величественно закачалось между двумя столбами.

– Проклятие! – воскликнул, падая, Гренгуар и остался лежать, уткнувшись носом в землю, неподвижный, как труп.

Он слышал зловещий трезвон над своей головой, дьявольский хохот бродяг и голос Труйльфу:

– Ну-ка подымите этого чудака и повесьте его без канители.

Он встал. Чучело уже успели отцепить и освободили место для Гренгуара.

Арготинцы заставили его влезть на скамью. К нему подошел сам Клопен и, накинув ему петлю на шею, потрепал его по плечу:

– Прощай, приятель. Теперь, будь в твоём брюхе кишки самого папы, тебе не выкрутиться!

Слово «пощадите» замерло на устах Гренгуара. Он растерянно огляделся. Никакой надежды: все хохотали.

– Бельвинь де Летуаль, – обратился властелин королевства Арго к какому-то отделившемуся от толпы верзиле, – ну-ка полезай на перекладину.

Бельвинь де Летуаль проворно вскарабкался на поперечный брус виселицы, и мгновение спустя Гренгуар, посмотрев вверх, с ужасом увидел его примостившимся на перекладине над его головой.

– Теперь, – сказал Клопен Труйльфу, – ты, Андри Рыжий, как только я хлопну в ладоши, вышибешь коленом у него из-под ног скамейку, ты, Франсуа Шант-Прюн, повиснешь на ногах этого прощельги, а ты, Бельвинь, прыгнешь ему на плечи, да все трое разом – слышали?

Гренгуар содрогнулся.

– Ну, поняли? – спросил Клопен трех арготинцев, готовых ринуться на Гренгуара, словно пауки на муху. Несчастливая жертва переживала ужасные мгновения, пока Клопен спокойно подталкивал ногою в огонь несколько еще не успевших загореться прутьев виноградной лозы. – Поняли? – повторил он и уже хотел хлопнуть в ладоши. Еще секунда – и все было бы кончено.

Но вдруг он остановился, точно осененный какой-то неожиданной мыслью.

– Постойте! – воскликнул он. – Чуть не забыл!.. По нашему обычаю, прежде чем повесить человека, мы спрашиваем, не найдется ли женщины, которая захочет его взять. Ну, дружище, это твоя последняя надежда. Тебе придется выбрать между потаскушкой и веревкой.

Этот цыганский обычай, сколько ни покажется он необычайным читателю, еще и доньше в весьма пространном изложении существует в старинном английском законодательстве. О нем можно справиться в «Заметках» Берингтона.

Гренгуар перевел дух; но в течение получаса он уже второй раз возвращался к жизни, стало быть, слишком доверять этому счастью нельзя.

– Эй! – крикнул Клопен, снова взобравшись на свою бочку. – Эй! Бабье, девки, найдется ли среди вас – будь то ведьма или ее кошка – какая-нибудь потаскушка, которая пожелала бы взять его себе? Эй! Колета Шарон, Элизабета Трувен, Симона Жодуин, Мари Колченогая, Тони Долговязая, Берарда Фануэль, Мишель Женайль, Клодина Грызи Ухо, Матюрина Жирору! Эй, Изабо ла Тъери! Смотрите сюда! Мужчина задаром! Кто хочет?

Несомненно, Гренгуар представлял собой малопривлекательное зрелище в том плачевном состоянии, в котором находился. Женщины отнеслись равнодушно к этому предложению. Бедняга слышал, как они ответили: «Нет, лучше повесьте. Тогда все получим удовольствие».

Трое из них, однако, отделились от толпы и подошли посмотреть на него. Первая была толстуха с квадратным лицом. Она внимательно оглядела жалкую куртку философа. Его камзол был до такой степени изношен, что на нем было больше дыр, чем в сковородке для жаренья каштанов. Девушка скорчила гримасу.

– Чистая рвань! – пробурчала она. – А где твой плащ? – спросила она Гренгуара.

– Я потерял его.

– А шляпа?

– У меня ее отняли.

– А башмаки?

– У них отваливаются подошвы.

– А твой кошелек?

– Увы, – запинаясь, ответил Гренгуар, – у меня нет ни полушки.

– Ну так попроси, чтобы тебя повесили, да еще скажи спасибо! – отрезала она и повернулась к нему спиной.

Вторая – старая, смуглая, морщинистая, омерзительная нищенка, до того безобразная, что даже во Дворе чудес казалась исключением, – покружила некоторое время вокруг Гренгуара. Ему даже стало страшно, что вдруг она пожелает его взять.

– Он слишком тощий! – пробормотала она сквозь зубы и отошла прочь.

Третья была молоденькая девушка, довольно свеженькая и не слишком безобразная. «Спасите меня», – шепнул ей бедняга. Она взглянула на него с состраданием, затем потупилась, поправила складку на юбке и остановилась в нерешительности. Он следил за всеми ее движениями; это была его последняя надежда. «Нет, – проговорила она наконец, – нет, Гильом Вислоцкий меня поколотит». И она замешалась в толпу.

– Ну, приятель, тебе не везет, – заметил Клопен.

И, поднявшись во весь рост на своей бочке, он, к величайшей потехе всех, закричал, подражая тону оценщика на аукционе:

– Никто не желает его приобрести? Раз, два, три! – И, повернувшись лицом к виселице, он сказал, кивнув головой: – Остался за вами!

Бельвинь де Летуаль, Андри Рыжий и Франсуа Шант-Прюн снова приблизились к Гренгуару. В эту минуту среди арготинцев поднялся крик:

– Эсмеральда! Эсмеральда!

Гренгуар вздрогнул и обернулся в ту сторону, откуда доносились возгласы. Толпа расступилась и пропустила непорочное и ослепительное создание.

То была цыганка.

– Эсмеральда, – повторил Гренгуар, пораженный, несмотря на свое волнение, той быстротой, с какою это магическое слово связало все его воспоминания за этот день.

Казалось, что это удивительное существо простирало до самого Двора чудес власть своего очарования и красоты. Арготинцы и арготинки тихо сторонились, уступая ей дорогу, их зверские лица как бы светлели от одного ее взгляда.

Она приблизилась к осужденному своей легкой поступью.

Хорошенькая Джали следовала за ней. Гренгуар был ни жив ни мертв. Она с минуту молча глядела на него.

– Вы хотите повесить этого человека? – с важностью обратилась она к Клопену.

– Да, сестра, – ответил король Алтынный, – разве только ты захочешь взять его в мужья.

Она сделала свою очаровательную гримаску.

– Я беру его, – сказала она.

Тут Гренгуар непоколебимо уверовал в то, что все происходящее с ним с утра лишь сон, а это – продолжение сна. Развязка хотя и была приятна, но слишком потрясла его. С шеи поэта сняли петлю и велели спуститься со скамьи. Он вынужден был сесть – так он был потрясен. Цыганский герцог, не произнеся ни единого слова, принес глиняную кружку. Цыганка подала ее Гренгуару.

– Бросьте ее на землю, – сказала она.

Кружка разлетелась на четыре части.

– Брат, – произнес тогда цыганский король, возложив на их головы свои руки, – она твоя жена. Сестра, он твой муж. На четыре года. Ступайте.

## VII. Брачная ночь

По прошествии нескольких минут наш поэт очутился в небольшой каморке со сводчатым потолком, уютной и жарко натопленной, перед столиком, который, казалось, только того и ждал, чтобы позаимствовать какой-нибудь снеди из висящего на стене шкафчика. В перспективе у Гренгуара была удобная постель и общество хорошенькой девушки. Приключение было похоже на волшебство. Он начал не шутя почитать себя за сказочного принца; от времени до времени он внимательно осматривался, как бы желая убедиться, не здесь ли еще та огненная колесница, запряженная двумя крылатыми химерами, которая одна могла столь стремительно перенести его из преисподней в рай. Иногда же, чтобы совсем не оторваться от земли, он, хватаясь за действительность, устремлял упорный взгляд на прорехи своего камзола. Его рассудок, колеблясь в фантастических просторах, держался только на этой нити.

Молодая девушка не обращала на него никакого внимания; она уходила, возвращалась, передвигала табурет, болтала с козочкой, строила по временам свою гримаску; наконец она села возле стола, и Гренгуар мог вволю ее разглядывать.

Вы были когда-то ребенком, читатель, а может быть, вам посчастливилось остаться им по сей день. Несомненно, вы не раз в сияющий солнечный день, сидя на берегу быстрой речки, ловили взором какую-нибудь очаровательную стрекозу, зеленую или голубую, которая быстрым, резким, косым лётom переносилась с кустика на кустик и словно лобзала кончик каждой ветки. (Что до меня, то я проводил за этим занятием долгие дни – плодотворнейшие дни моей жизни.) Вспомните, с каким любовным вниманием ваша мысль и взор были прикованы к этому маленькому вихрю пурпуровых и лазоревых крыл, свистящему и жужжащему, в центре которого трепетал какой-то неуловимый образ, затененный самой стремительностью своего движения. Это воздушное создание, чуть видимое сквозь трепетанье крылышек, казалось вам нереальным, призрачным, неосязаемым, неразличимым. А когда наконец стрекоза опускалась на верхушку тростника и вы, затаив дыхание, могли разглядеть продолговатые прозрачные крылья, длинное эмалевое одеяние и два хрустальных глаза, – как бывали вы изумлены и как боялись, что этот образ снова превратится в тень, а живое существо – в химеру! Припомните эти впечатления, и вам будет понятно, что испытывал Гренгуар, созерцая под видимой и осязаемой оболочкой ту Эсмеральду, которую до сей поры он видел лишь мельком за вихрем пляски, песни и суеты.

«Так вот что такое Эсмеральда! – думал он, следя за ней задумчивым взором и все более и более погружаясь в мечтания. – Небесное создание и уличная плясунья! Столь много и столь мало! Она нанесла нынче утром последний удар моей мистерии, и она же вечером спасла мне жизнь. Мой злой гений! Мой ангел-хранитель! Прелестная женщина, клянусь честью! Она должна любить меня до безумия, если решилась завладеть мной таким странным способом. Да, кстати, – встав внезапно из-за стола сказал он себе, охваченный тем чувством реальности, которое составляло основу его характера и философии, – как-никак, но ведь я ее муж!»

Эта мысль отразилась в его глазах, и он с таким предприимчивым и галантным видом подошел к молодой девушке, что она отшатнулась.

– Что вам угодно? – спросила она.

– Неужели вы сами не догадываетесь об этом, обожаемая Эсмеральда? – ответил Гренгуар с такой страстью, что сам себе удивился.

Цыганка изумленно посмотрела на него.

– Я не понимаю, что вы хотите сказать.

– Как же! – продолжал Гренгуар, все более и более воспламеняясь и воображая, что, в конце концов, он имеет дело всего лишь с добродетелью Двора чудес. – Разве я не твой, нежная моя подруга? Разве ты не моя?

И он простодушно обнял ее за талию. Она выскользнула у него из рук, как угорь. Отскочив на другой конец каморки, она наклонилась, затем вновь выпрямилась, и, раньше чем Гренгуар успел сообразить, откуда он взялся, в ее руке сверкнул маленький кинжал. Гордая, негодующая, сжав губы, красная, как наливное яблочко, стояла она перед ним; ноздри ее раздувались, глаза сверкали. Тут же выступила вперед и белая козочка, наставив на Гренгуара свой лоб, вооруженный двумя хорошенькими, позолоченными, весьма острыми рожками. Все это произошло в мгновение ока.

Стрекоза превратилась в осу и намеревалась ужалить.

Наш бедный философ опешил и с глупым видом смотрел то на козочку, то на Эсмеральду.

– Пресвятая Дева, – воскликнул он, опомнившись от изумления и обретя дар речи, – вот так храбрецы!

Цыганка нарушила молчание:

– А ты, как я погляжу, очень дерзкий плут!

– Простите, мадемуазель, – улыбаясь, ответил Гренгуар, – но зачем же вы взяли меня в мужа?

– А было бы лучше, если бы тебя повесили?

– Значит, вы вышли за меня замуж только ради того, чтобы спасти меня от виселицы? – спросил Гренгуар, несколько разочаровавшись в своих любовных упованиях.

– А о чем же другом я могла думать?

Гренгуар закусил губы.

– Ну-ну, – пробормотал он, – видимо, Купидон далеко не столь благосклонен ко мне, как я предполагал. Но для чего же тогда было разбивать эту злосчастную кружку?

Кинжал молодой цыганки и рожки козочки все еще находились в оборонительном положении.

– Мадемуазель Эсмеральда, – сказал поэт, – заключим перемирие. Я не актуариус Шатле и не буду доносить, что вы вопреки запрещениям и приказам господина парижского прево носите при себе кинжал. Но все же вы должны знать, что восемь дней тому назад Ноэль Лекривен был присужден к уплате штрафа в десять су за то, что носил шпагу. Ну да меня это не касается; я перехожу к делу. Клянусь вам вечным спасением, что я не подойду к вам без вашего согласия и разрешения, только дайте мне поужинать.

В сущности, Гренгуар, как и господин Депрео, был «преотменно мало сластолюбив». Он не принадлежал к породе тех грубоватых и развязных мужчин, которые берут девушек приступом. В любви, как и во всем остальном, он был противником крайних мер и предпочитал выжидательную политику. Приятная беседа с глазу на глаз и добрый ужин, в особенности когда человек голоден, казались ему великолепной интермедией между прологом и развязкой любовного приключения.

Цыганка оставила его речь без ответа. Сделав презрительную гримаску, она, точно птичка, подняла головку и вдруг расхохоталась; маленький кинжал исчез так же быстро, как появился, и Гренгуар не успел разглядеть, куда пчелка спрятала свое жало.

Через минуту на столе очутились ржаной хлеб, кусок сала, несколько сморщенных яблок и жбан браги. Гренгуар с увлечением принялся за еду. Слыша бешеный стук его железной вилки о фаянсовую тарелку, можно было предположить, что вся его любовь обратилась в аппетит.

Сидя напротив него, молодая девушка молча наблюдала за ним, явно поглощенная какими-то другими мыслями, которым она порой улыбалась, и милая ее ручка гладила головку козочки, нежно прижавшуюся к ее коленям.

Свеча желтого воска освещала эту сцену обжорства и мечтательности.

Заморив червячка, Гренгуар устыдился, заметив, что на столе осталось несъеденным лишь одно яблоко.

– А вы не голодны, мадемуазель Эсмеральда? – спросил он.

Она отрицательно покачала головой и устремила задумчивый взор на сводчатый потолок комнатки.

«Что ее там занимает? – спросил себя Гренгуар, посмотрев туда же, куда глядела цыганка. – Не может быть, чтобы рожа каменного карлика, высеченного в центре свода. Черт возьми! С ним-то я вполне могу соперничать».

И он окликнул ее:

– Мадемуазель!

Она, казалось, не слышала.

Он повторил еще громче:

– Мадемуазель Эсмеральда!

Напрасно. Ее мысли витали где-то далеко, и голос Гренгуара был бессилен отвлечь ее от них. К счастью, в дело вмешалась козочка: она принялась тихонько дергать свою госпожу за рукав.

– Что тебе, Джали? – словно пробудившись от сна, быстро спросила цыганка.

– Она голодна, – ответил Гренгуар, обрадовавшись случаю завязать разговор.

Эсмеральда накрошила хлеба, и козочка грациозно начала его есть с ее ладони.

Гренгуар, не дав молодой девушке времени опять впасть в задумчивость, отважился задать ей щекотливый вопрос:

– Итак, вы не желаете, чтобы я стал вашим мужем?

Она пристально поглядела на него и ответила:

– Нет.

– А любовником? – спросил Гренгуар. Она сделала гримаску и сказала:

– Нет.

– А другом? – настаивал Гренгуар. Она опять пристально поглядела на него и, помедлив, ответила:

– Может быть.

Это «может быть», столь любезное сердцу философа, ободрило Гренгуара.

– А знаете ли вы, что такое дружба? – спросил он.

– Да, – ответила цыганка. – Это значит быть братом и сестрой; это две души, которые соприкасаются, не сливаясь; это два перста одной руки.

– А любовь? – спросил Гренгуар.

– О, любовь! – промолвила она, и голос ее дрогнул, а глаза заблестали. – Любовь – это когда двое едины. Когда мужчина и женщина превращаются в ангела. Это – небо!

При этих словах лицо уличной плясуньи просияло чудесной красотой, которая необычайно потрясла Гренгуара и, казалось ему, была в совершенном соответствии с почти восточной экзальтированностью ее слов. Ее розовые невинные уста слегка улыбались, непорочное и ясное чело, как зеркало от дыхания, иногда затуманивалось какой-то мыслью, а из-под опущенных длинных черных ресниц струился неизъяснимый свет, придававший ее чертам ту идеальную нежность, которую впоследствии уловил Рафаэль в мистическом слиянии девственности, материнства и божественности.

– Каким же надо быть, чтобы вам понравиться? – продолжал Гренгуар.

– Надо быть мужчиной.

– А я, – спросил он, – разве я не мужчина?

– Мужчиной, у которого на голове шлем, в руках шпага, а на сапогах золотые шпоры.

– Так! – заметил Гренгуар. – Значит, без золотых шпор нет и мужчины. Вы любите кого-нибудь?

– Любовью?

– Да, любовью.

На минуту она задумалась, затем сказала с каким-то особым выражением:

– Я скоро это узнаю.

– Отчего же не сегодня вечером? – нежно спросил поэт. – Почему не меня?

Она серьезно взглянула на него:

– Я полюблю только того мужчину, который сумеет защитить меня.

Гренгуар покраснел и принял эти слова к сведению. Молодая девушка, очевидно, наметала на ту слабую помощь, которую он оказал ей два часа тому назад, когда она попала в такое опасное положение. Ему вспомнился теперь этот случай, полузабытый им среди других его ночных передраг. Он хлопнул себя по лбу.

– Мне следовало бы с этого и начать! Простите мою ужасную рассеянность, мадемуазель. Скажите, каким образом вам удалось вырваться из когтей Квазимодо?

Этот вопрос заставил цыганку вздрогнуть.

– О! Ужасный горбун! – закрывая лицо руками, воскликнула она и задрожала, словно ее пронизал холод.

– Действительно ужасный! Но как же вам удалось ускользнуть от него? – настойчиво повторил свой вопрос Гренгуар.

Эсмеральда улыбнулась, вздохнула и промолчала.

– А вы знаете, почему он вас преследовал? – спросил Гренгуар, пытаясь обходным путем вернуться к интересовавшей его теме.

– Не знаю, – ответила молодая девушка, а потом быстро прибавила: – Вы ведь тоже меня преследовали, а зачем?

– Клянусь честью, я и сам не знаю.

Оба замолчали. Гренгуар ковырял своим ножом стол, молодая девушка улыбалась и пристально глядела на стену, словно что-то видела за ней. Вдруг она едва слышно запела:

Quando las pintadas aves  
Mudas estan, y la tierra...<sup>32</sup>

Оборвав песню, она принялась ласкать Джали.

– Какое хорошенькое животное, – сказал Гренгуар.

– Это моя сестричка, – ответила цыганка.

– Почему вас зовут Эсмеральдой?<sup>33</sup> – спросил поэт.

– Не знаю.

– А все же?

Она вынула из-за пазухи маленькую овальную ладанку, висевшую у нее на шее на цепочке из зерен лаврового дерева и источавшую сильный запах камфары. Ладанка была обтянута зеленым шелком, а посередине была нашита зеленая бусинка, похожая на изумруд.

– Может быть, из-за этого, – сказала она.

Гренгуар хотел взять ладанку в руки. Эсмеральда отшатнулась.

– Не прикасайтесь ко мне! Это амулет. Либо вы повредите ему, либо он вам.

Любопытство поэта разгоралось все сильнее.

– Кто же вам его дал?

Она приложила пальчик к губам и спрятала амулет на груди. Гренгуар попытался задать ей еще несколько вопросов, но она отвечала неохотно.

– Что означает слово «Эсмеральда»?

– Не знаю, – сказала она.

---

<sup>32</sup> Когда цесарки меняют перья, и земля... (исп.)

<sup>33</sup> *Esmeralda* – по-испански изумруд.

- На каком это языке?
- Должно быть, на цыганском.
- Я так и думал, – сказал Гренгуар. – Вы родились не во Франции?
- Я ничего об этом не знаю.
- А кто ваши родители?

В ответ она запела на мотив старинной песни:

Отец мой орел,  
Мать моя орлица,  
Плыву я без ладьи,  
Плыву я без челна,  
Отец мой орел,  
Мать моя орлица.

- Так, – сказал Гренгуар. – Сколько же вам было лет, когда вы приехали во Францию?
- Я была совсем малюткой.
- А в Париж?
- В прошлом году. Когда мы входили в Папские ворота, то над нашими головами пролетела камышовая славка; это было в конце августа; я сказала себе: «Зима нынче будет суровая».
- Да, так оно и было, – сказал Гренгуар, восхищаясь тем, что разговор наконец завязался, – мне все время приходилось дыханием отогревать пальцы. Вы, значит, обладаете даром пророчества?
- Нет.
- А тот человек, которого вы называете цыганским герцогом, – глава вашего племени?
- Да.
- А ведь это он сочел нас браком, – робко заметил поэт. Она сделала свою обычную гримаску.
- Я даже не знаю, как тебя зовут.
- Извольте! Пьер Гренгуар.
- Я знаю более красивое имя.
- Злая! – сказал поэт. – Но пусть так, я не буду сердиться. Послушайте, может быть, вы полюбите меня, узнав поближе. Вы с таким доверием рассказали мне свою историю, что я должен отплатить вам тем же. Итак, вам уже известно, что мое имя Пьер Гренгуар. Я сын сельского нотариуса из Гонеса. Двадцать лет тому назад, во время осады Парижа, отца моего повесили бургундцы, а мать мою зарезали пикардийцы. Таким образом, шести лет я остался сиротой, и подошвой моим ботинкам служили лишь мостовые Парижа. Не знаю сам, как мне удалось прожить с шести до шестнадцати лет. То торговка фруктами давала мне сливу, то булочник бросал корочку хлеба; по вечерам я старался, чтобы меня подобрал на улице ночной дозор: меня отводили в тюрьму, и там я находил для себя охапку соломы. Однако все это не мешало мне расти и худеть, как видите. Зимой я грелся на солнышке у подъезда особняка де Сане, недоумевая, почему костры Иванова дня зажигают летом. В шестнадцать лет я решил выбрать себе профессию. Одно за другим я испробовал все. Я пошел в солдаты, но оказался недостаточно храбрым. Затем я сделался монахом, но оказался недостаточно набожным, и, кроме того, я не умел пить. Тогда с отчаяния я поступил в обучение к плотникам, но оказался слишком слабосильным. Больше всего мне хотелось стать школьным учителем; правда, грамоты я не знал, но это меня не смущало. Убедившись через некоторое время, что для всех этих занятий мне чего-то не хватает и что я ни к чему не пригоден, я, следуя своему влечению, стал сочинять стихи и песни. Это ремесло как раз годится для бродяг, и это все же лучше, чем промышлять грабежом, на что меня подбивали некоторые вороватые парнишки из числа моих приятелей. К

счастью, я однажды встретил преподобного отца Клода Фролло, архидьякона Собора Парижской Богоматери. Он принял во мне участие, и ему я обязан тем, что стал по-настоящему образованным человеком, знающим латынь, начиная с книги Цицерона – «Об обязанностях» и кончая «Житиями святых», творением отцов-целестинцев. Я кое-что смыслю в схоластике, пиитике, стихосложении и даже в алхимии, этой премудрости из всех премудростей. Я автор той мистерии, которая сегодня с таким успехом и при таком громадном стечении народа была представлена в переполненном большом зале дворца. Я написал также труд в шестьсот страниц о страшной комете 1465 года, из-за которой один несчастный сошел с ума. На мою долю выпадали и другие успехи. Будучи несколько сведущ в артиллерийском деле, я работал над сооружением той огромной бомбарды Жеана Мога, которая, как вам известно, взорвалась на мосту Шарантон, когда ее хотели испробовать, и убила двадцать четыре человека зевак. Итак, вы видите, что я для вас неплохая партия. Я знаю множество весьма забавных штук, которым могу научить вашу козочку, – например, передразнивать парижского епископа, этого проклятого святошу, мельницы которого обдают грязью прохожих на всем протяжении Мельничного моста. А потом я получу за свою мистерию большие деньги звонкой монетой, если мне за нее заплатят. Словом, я весь к вашим услугам: и я, и мой ум, и мои знания, и моя ученость; я готов жить с вами так, как вам будет угодно, мадемуазель, – в целомудрии или в веселии: как муж с женою, буде вам то понравится, или как брат с сестрой, если вы это предпочтете.

Гренгуар умолк, выжидая, какое впечатление его речь произведет на молодую девушку. Глаза ее были опущены.

– Феб, – промолвила она вполголоса и, обернувшись к поэту, спросила: – Что означает слово «Феб»?

Гренгуар, хоть и не очень хорошо понимавший, какое отношение этот вопрос имел к тому, что он только что говорил, был все же не прочь блеснуть своей ученостью и, присоветившись, ответил:

– Это латинское слово, оно означает «солнце».

– Солнце! – повторила цыганка.

– Так звали прекрасного стрелка, который был богом, – присовокупил Гренгуар.

– Богом! – повторила она с каким-то мечтательным и страстным выражением.

В эту минуту один из ее браслетов расстегнулся и упал, Гренгуар быстро наклонился, чтобы поднять его. Когда он выпрямился, молодая девушка и козочка уже исчезли. Он услышал, как щелкнула задвижка. Маленькая дверь, ведущая, по-видимому, в соседнюю каморку, заперлась изнутри.

«Оставила ли она мне хоть постель?» – подумал наш философ.

Он обошел каморку. Единственной мебелью, пригодной для спанья, был довольно длинный деревянный ларь; но его крышка была резной работы, и это заставило Гренгуара, когда он на нем растянулся, испытать ощущение, подобное тому, какое испытал Микромегас, улегшись во всю длину на Альпах.

– Делать нечего, – сказал он, устраиваясь поудобней на этом ложе, – приходится смириться. Однако какая странная брачная ночь! А жаль! В этой свадьбе с разбитой кружкой было нечто наивное и допотопное, что мне понравилось.

## Книга третья

### І. Собор Богоматери

Несомненно, Собор Парижской Богоматери еще и донныне является благородным и величественным зданием. Но каким бы прекрасным собор, дряхлея, ни оставался, нельзя не скорбеть и не возмущаться при виде тех бесчисленных разрушений и повреждений, которым и годы и люди одновременно подвергли этот почтенный памятник старины, без малейшего уважения к имени Карла Великого, заложившего первый его камень, и к имени Филиппа Августа, положившего последний.

На челе этого старейшего патриарха наших соборов рядом с морщиной неизменно видишь шрам. *Tempus edax, homo edacior*<sup>34</sup>, что я охотно перевел бы таким образом: «Время слепо, а человек невежествен».

Если бы у нас с читателем хватило досуга проследить один за другим все те следы разрушения, которые отпечатались на этом древнем храме, мы бы заметили, что доля времени здесь ничтожна, что наибольший вред нанесли люди, и главным образом люди искусства. Я вынужден упомянуть о «людях искусства», ибо в течение двух последних столетий к их числу принадлежали личности, присвоившие себе звание архитекторов.

Прежде всего, – чтобы ограничиться лишь немногими наиболее значительными примерами, – следует указать, что вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какую является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала; над ними – зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восемью королевскими нишами, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам, подобно священнику, стоящему между дьяконом и иподьяконом; высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, несущая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые один над другими в пять гигантских ярусов, безмятежно в бесконечном разнообразии разворачивают перед глазами свои бесчисленные скульптурные, резные и чеканные детали, могуче и неотрывно сливающиеся со спокойным величием целого. Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека и народа; единое и сложное, подобно «Илиаде» и «Романсеро», которым оно родственно; чудесный результат соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника, – одним словом, это творение рук человеческих могуче и изобильно, подобно творению Бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер: разнообразие и вечность.

То, что мы говорим здесь о фасаде, следует отнести и ко всему собору в целом; а то, что мы говорим о кафедральном соборе Парижа, следует сказать и обо всех христианских церквях Средневековья. Все в этом искусстве, возникшем само собою, последовательно и соразмерно. Измерить один палец ноги гиганта – значит определить размеры всего его тела.

Но возвратимся к этому фасаду в том его виде, в каком он нам представляется, когда мы благоговейно созерцаем суровый и мощный собор, который, по словам его летописцев, наводит страх – *quae mole sua terrorem incutit spectantibus*<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Время прожорливо, человек еще прожорливей (*лат.*).

<sup>35</sup> Который своею громадой повергает в ужас зрителей (*лат.*).

Ныне в его фасаде недостает трех важных частей: прежде всего крыльца с одиннадцатью ступенями, приподнимавшего его над землей; затем нижнего ряда статуй, занимавших ниши трех порталов; и наконец, верхнего ряда изваяний, некогда украшавших галерею первого яруса и изображавших двадцать восемь древних королей Франции, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом Августом, с королевскою державою в руке.

Время, поднимая медленно и неудержимо уровень почвы Ситэ, заставило исчезнуть лестницу. Но, дав поглотить все растущему приливу парижской мостовой одну за другой эти одиннадцать ступеней, усиливавших впечатление величавой высоты этого здания, время же вернуло собору, быть может, больше, нежели отняло: оно придало его фасаду тот темный колорит веков, который претворяет преклонный возраст памятника в эпоху наивысшего расцвета его красоты.

Но кто низвергнул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто вырубил посреди центрального портала эту новую незаконную стрельчатую арку? Кто отважился поместить туда эту безвкусную, тяжелую резную дверь в стиле Людовика XV рядом с арабесками Бискорнета? Люди, архитекторы, художники наших дней.

А внутри храма – кто поверг ниц исполинскую статую святого Христофора, столь же прославленную среди статуй, как большой зал Дворца правосудия среди других залов, как шпиц Страсбургского собора среди колоколен? Кто столь грубо изгнал из храма мириады статуй, которые населяли все промежутки между колоннами нефа и хоров, – статуи коленопреклоненные, стоящие во весь рост, конные, статуи мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, каменные, мраморные, золотые, серебряные, медные, даже восковые? Уж никак не время.

А кто подменил древний готический алтарь, пышно уставленный раками и ковчежцами, этим тяжелым каменным саркофагом, разукрашенным головами херувимов и облаками, похожим на попавший сюда архитектурный образчик церкви Валь-де-Грас или Дома инвалидов? Кто столь нелепо вделал в плиты карловингского пола работы Эркандуса этот тяжелый каменный анахронизм? Не Людовик ли XIV, исполнивший пожелание Людовика XIII?

Кто заменил холодным белым стеклом цветные витражи, поочередно притягивавшие восхищенный взор наших предков то к розетке главного портала, то к стрельчатым окнам алтаря? И что сказал бы какой-нибудь причетник XIV века, увидев эту потрясающую желтую замазку, которой наши вандалы-архиепископы запачкали собор? Он вспомнил бы, что именно этой краской палач отмечал дома осужденных законом; он вспомнил бы дворец Пти-Бурбон, в ознаменование измены коннетабля также вымазанный той самой желтой краской, которая, по словам Совалья, была «столь крепкой и доброкачественной, что еще более ста лет сохраняла свою свежесть». Причетник решил бы, что святой храм осквернен, и в ужасе бежал бы.

А если мы, минуя тысячу мелких проявлений варварства, поднимемся на самый верх собора, то спросим себя: что случилось с той очаровательной колоколенкой, опиравшейся на точку пересечения свода, столь же хрупкой и столь же смелой, как и ее сосед, шпиц Сент-Шпель (тоже снесенный)? Стройная, остроконечная, звонкая, ажурная, она, далеко опережая башни, так легко вонзилась в ясное небо! Один архитектор (1787), обладавший непогрешимым вкусом, ампутировал ее, а чтобы скрыть рану, счел вполне достаточным наложить на нее этот свинцовый пластырь, напоминающий крышку котла.

Таково было отношение к дивным произведениям искусства Средневековья почти повсюду, особенно во Франции. На его руинах можно различить три вида более или менее глубоких повреждений: прежде всего бросаются в глаза те из них, что нанесла рука времени, там и сям неприметно выщербив и покрыв ржавчиной поверхность зданий; затем на них беспорядочно ринулись полчища политических и религиозных смут, слепых и яростных по своей природе, которые растерзали роскошный скульптурный и резной наряд соборов, выбили розетки, разорвали ожерелья из арабесок и статуэток, уничтожили изваяния – одни за то, что те были в митрах, другие за то, что их головы венчали короны; довершили разрушения моды, все более

вычурные и нелепые, сменявшиеся одна за другой при неизбежном упадке зодчества, после анархических, но великолепных отклонений эпохи Возрождения.

Моды нанесли больше вреда, чем революции. Они врезались в самую плоть средневекового искусства, они посягнули на самый его остов, они обкорнали, искромсали, разрушили, убили в здании его форму и символ, его смысл и красоту. Не довольствуясь этим, моды осмелились переделать его заново, на что все же не притяжали ни время, ни революции. Считая себя непогрешимыми в понимании «хорошего вкуса», они бесстыдно разукрасили язвы памятника готической архитектуры своими жалкими недолговечными побрякушками, мраморными лентами, металлическими помпонами, медальонами, завитками, ободками, драпировками, гирляндами, бахромой, каменными языками пламени, бронзовыми облаками, дородными амурами и пухлыми херувимами, которые, подобно настоящей проказе, начинают пожирать прекрасный лик искусства еще в молельне Екатерины Медичи, а два века спустя заставляют это измученное и манерное искусство окончательно угаснуть в будуаре Дюбарри.

Итак, повторяем вкратце то, на что мы указывали выше: тройкого рода повреждения искажают облик готического зодчества. Морщины и наросты на поверхности – дело времени. Следы грубого насилия, выбоины, проломы – дело революций, начиная с Лютера и кончая Мирабо. Увечья, ампутации, изменения в самом костяке здания, так называемые «реставрации» – дело варварской работы подражавших грекам и римлянам ученых мастеров, жалких последователей Витрувия и Виньоля. Так великолепное искусство, созданное вандалами, было убито академиками. К векам, к революциям, разрушавшим по крайней мере беспристрастно и величаво, присоединилась туча присяжных зодчих, ученых, признанных, дипломированных, разрушавших сознательно и с разборчивостью дурного вкуса, подменяя, к вящей славе Парфенона, кружева готики листьями цикория времен Людовика XV. Так осел лягает умирающего льва. Так засыхающий дуб точат, сверлят, гложут гусеницы.

Как далеко то время, когда Робер Сеналис, сравнивая Собор Парижской Богоматери с знаменитым храмом Дианы в Эфесе, «столь прославленным язычниками» и обессмертившим Герострата, находил галльский собор «великолепней по длине, ширине, высоте и устройству!»<sup>36</sup>

Собор Парижской Богоматери не может быть, впрочем, назван законченным, цельным, имеющим определенный характер памятником. Это уже не храм романского стиля, но это еще и не вполне готический храм. Это здание промежуточного типа. Собор Парижской Богоматери не имеет, подобно Турнюсскому аббатству, той суровой, мощной ширины фасада, круглого и широкого свода, ледящей наготы, величавой простоты зданий, основоположением которых является круглая арка. Он не похож и на собор в Бурже, великолепное, легкое, многообразное по форме, пышное, все оцетинившееся остриями стрелок произведение готики. Невозможно причислить собор и к древней семье мрачных, таинственных, приземистых и как бы придавленных полукруглыми сводами церквей, напоминающих египетские храмы, за исключением их кровли, целиком эмблематических, жреческих, символических, орнаменты которых больше обременены ромбами и зигзагами, нежели цветами, больше цветами, нежели животными, больше животными, нежели людьми; являющихся творениями скорее епископов, чем зодчих; служивших примером первого превращения того искусства, насквозь проникнутого теократическим и военным духом, которое брало свое начало в Восточной Римской империи и дожило до времен Вильгельма Завоевателя. Невозможно также отнести наш собор и к другой семье церквей, высоких, воздушных, с избытком витражей, смелых по рисунку; общинных и гражданских как символы политики, свободных, прихотливых и необузданных как творения искусства; служивших примером второго превращения зодчества, уже не эмблематического и жреческого, но художественного, прогрессивного и народного, начинающегося после кресто-

<sup>36</sup> «История галликанской церкви». Кн. 2. С. 130. (Примеч. авт.)

вых походов и заканчивающегося в царствование Людовика XI. Таким образом, Собор Парижской Богоматери – не чисто романского происхождения, как первые, и не чисто арабского, как вторые.

Это здание переходного периода. Не успел саксонский зодчий воздвигнуть первые столбы нефа, как стрельчатый свод, вынесенный из Крестовых походов, победоносно лег на широкие романские капители, предназначенные поддерживать лишь полукруглый свод. Нераздельно властвуя с той поры, стрельчатый свод определяет формы всего собора в целом. Неискушенный и скромный вначале, этот свод разворачивается, увеличивается, но еще сдерживает себя, не дерзая устремиться остриями своих стрел и высоких арок в небеса, как он сделал это впоследствии в стольких чудесных соборах. Его словно стесняет соседство тяжелых романских столбов.

Однако изучение этих зданий переходного периода от романского стиля к готическому столь же важно, как и изучение образцов чистого стиля. Они выражают собою тот оттенок в искусстве, который был бы для нас утрачен без них. Это – прививка стрельчатого свода к полукруглому.

Собор Парижской Богоматери и является примечательным образцом подобной разновидности. Каждая сторона, каждый камень почтенного памятника – это не только страница истории Франции, но и истории науки и искусства. Укажем здесь лишь на главные его особенности. В то время как малые Красные врата по своему изяществу почти достигают предела утонченности готического зодчества XV столетия, столбы нефа по объему и тяжести напоминают еще здание аббатства Сен-Жермен-де-Пре времен Каролингов, словно между временем сооружения врат и столбов лег промежуток в шестьсот лет. Все, даже герметики, находили в символических украшениях главного портала достаточно полный обзор своей науки, совершенным выражением которой являлась церковь Сен-Жак-де-ла-Бушри. Таким образом, романское аббатство, философическая церковь, готическое искусство, искусство саксонское, тяжелые круглые столбы времен Григория VII, символика герметиков, где Никола́ Фламель предшествовал Лютеру, единовластие папы, раскол Церкви, аббатство Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Жак-де-ла-Бушри – все расплавилось, смешалось, слилось в Соборе Парижской Богоматери. Эта главная церковь, церковь-прародительница, является среди древних церквей Парижа чем-то вроде химеры: у нее голова одной церкви, конечности другой, торс третьей и что-то общее со всеми.

Повторяем, эти постройки смешанного стиля представляют немалый интерес и для художника, и для любителя древностей, и для историка. Подобно следам циклопических построек, пирамидам Египта и гигантским индусским пагодам, они дают почувствовать, насколько первобытно искусство зодчества, служа наглядным доказательством того, что крупнейшие памятники прошлого – это не столько творения отдельной личности, сколько целого общества; это скорее следствие творческих усилий народа, чем блистательная вспышка гения; это осадочный пласт, оставляемый после себя нацией; наслоения, отложенные веками; гуща, оставшаяся в результате последовательного испарения человеческого общества, – одним словом, это своего рода органическая формация. Каждая волна времени оставляет на памятнике свой намыв, каждое поколение – свой слой, и каждая личность добавляет свой камень. Так поступают бобры, так поступают пчелы, так поступают и люди. Величайший символ зодчества Вавилон представлял собою улей.

Великие здания, как и высокие горы, – создания веков. Часто форма искусства успела уже измениться, а они все еще не закончены, *pendent opera interrupta*<sup>37</sup>, тогда они спокойно принимают то направление, которое избрало искусство. Новое искусство берет за памятник в том виде, в каком его находит, отображается в нем, уподобляет его себе, продолжает

<sup>37</sup> Стоят, прервавшись, работы (*лат.*).

согласно своей фантазии и, если может, заканчивает его. Это совершается спокойно, без усилий, без противодействия, следуя естественному, бесстрастному закону. Это черенок, который привился, это сок, который бродит, это растение, которое принялось. Поистине в этих последовательных спайках различных искусств на различной высоте одного и того же здания заключается материал для многих объемистых томов, а нередко и сама всемирная история человечества. Художник, личность, человек исчезают в этих огромных массах, не оставляя после себя имени творца; человеческий ум находит в них свое выражение и свой общий итог. Здесь время – зодчий, а народ – каменщик.

Рассматривая лишь европейское, христианское зодчество, этого младшего брата огромных каменных кладов Востока, мы видим перед собой исполинское образование, разделенное на три резко отличные друг от друга пояса: пояс романский<sup>38</sup>, пояс готический и пояс Возрождения, который мы охотно назовем греко-римским. Романский пласт, наиболее древний и глубокий, представлен полукруглым сводом, который вновь появляется перед нами в верхнем новом пласте эпохи Возрождения, поддерживаемый греческой колонной. Между ними лежит пласт стрельчатого свода. Здания, относящиеся только к одному из этих трех наслоений, совершенно отличны от других, законченны и едины. Таковы, например, аббатство Жюмьеж, Реймский собор, церковь Креста Господня в Орлеане. Но эти три пояса, как цвета в солнечном спектре, соединяются и сливаются по краям. Отсюда возникли памятники смешанного стиля, здания различных оттенков переходного периода. Среди них можно встретить памятник, романский по своему основанию, готический по средней части, греко-римский по куполу. Это объясняется тем, что он строился шестьсот лет. Впрочем, подобная разновидность встречается редко. Образчиком такого здания служит главная башня замка Этамп. Чаше других встречаются памятники двух формаций. Таков Собор Парижской Богоматери – здание со стрельчатым сводом, которое первыми своими столбами внедряется в тот же романский слой, куда погружены и портал Сен-Дени, и неф церкви Сен-Жермен-де-Пре. Таков прелестный полуготический зал капитула Бошервиля, до половины охваченный романским пластом. Таков кафедральный собор в Руане, который был бы целиком готическим, если бы острие его центрального шпиля не уходило в эпоху Возрождения<sup>39</sup>.

Впрочем, все эти оттенки и различия касаются лишь внешнего вида здания. Искусство меняет здесь только оболочку. Самое же устройство христианского храма остается неизменным. Внутренний остов его все тот же, все то же последовательное расположение частей. Какой бы скульптурой и резьбой ни была разукрашена оболочка храма, под нею всегда находишь, хотя бы в зачаточном, начальном состоянии, римскую базилику. Она располагается на земле по непреложному закону. Это все те же два нефа, пересекающихся в виде креста, верхний конец которого, закругленный куполом, образует хоры; это все те же постоянные приделы для крестовых ходов внутри храма или для часовен – нечто вроде боковых проходов, с которыми центральный неф сообщается через промежутки между колоннами. На этой постоянной основе бесконечно варьируется число часовен, порталов, колоколен, шпилей, следуя за фантазией века, народа и искусства. Предусмотрев и обеспечив все правила церковного богослужения, зодчество в остальном поступает, как ему вздумается. Изваяния, витражи, розетки, арабески, разные украшения, капители, барельефы – все это сочетает оно по своему вкусу и своим правилам. Отсюда проистекает изумительное внешнее разнообразие подобного рода зданий, в основе которых заключено столько порядка и единства. Ствол дерева – неизменен, листва – прихотлива.

<sup>38</sup> Это то искусство, которое в зависимости от местности, климата и населения называется также ломбардским, саксонским и византийским. Эти четыре разновидности архитектуры родственны и существуют параллельно; хотя каждая из них отличается особым характером, но в основе всех лежит полукруглый свод. *Facies non omnibus una, Non diversa tamen; qualem ets. Все не на одно лицо, однако очень схожи и т. д. (лат.). (Примеч. авт.)*

<sup>39</sup> Эта деревянная часть шпиля была уничтожена молнией в 1823 году. *(Примеч. авт.)*

## II. Париж с птичьего полета

Мы попытались восстановить перед читателями чудесный Собор Парижской Богоматери. Мы в общих чертах указали на те красоты, которыми он обладал в XV веке и которых ныне ему недостает, но мы опустили главное, а именно – картину Парижа, открывавшуюся с высоты его башен.

Когда после долгого восхождения ошупью по темной спирали лестницы, вертикально пронзающей массивные стены колоколен, вы внезапно вырываетесь на одну из высоких, полных воздуха и света террас, перед вами развевалась со всех сторон великолепная панорама. То было зрелище *sui generis*<sup>40</sup>, о котором могут составить себе понятие лишь те из читателей, кому посчастливилось видеть какой-нибудь из еще сохранившихся кое-где готических городов во всей его целостности, завершенности и сохранности, как, например, Нюрнберг в Баварии, Витория в Испании или хотя бы самые малые образцы таких городов, лишь бы они хорошо сохранились, вроде Витре в Бретани или Нордгаузена в Пруссии.

Париж триста пятьдесят лет тому назад, Париж XV столетия был уже городом-гигантом. Мы, парижане, заблуждаемся относительно позднейшего увеличения площади, занимаемой Парижем. Со времен Людовика XI Париж вырос немногим более чем на одну треть и, несомненно, гораздо больше проиграл в красоте, чем выиграл в размере.

Как известно, Париж возник на древнем острове Ситэ, имеющем форму колыбели. Плоский песчаный берег этого острова был его первой границей, а Сена – первым рвом. В течение нескольких веков Париж существовал как остров с двумя мостами – одним на севере, другим на юге, и с двумя мостовыми башнями, служившими одновременно воротами и крепостями: Гран-Шатле на правом берегу и Пти-Шатле на левом.

Позже, начиная со времен первой королевской династии, Париж, слишком стесненный на своем острове, не находя возможности развернуться на нем, перекинулся через реку. Первая ограда крепостных стен и башен врезалась в поля по обе стороны Сены за Гран-Шатле и Пти-Шатле. От этой древней ограды еще в прошлом столетии оставались кое-какие следы, но ныне от нее сохранилось лишь воспоминание, лишь несколько легенд о ней да ворота Бодэ, или Бодуайе, *Porta Bagauda*. Мало-помалу поток домов, непрерывно выталкиваемый из сердца города, переклестнул через ограду, разрушил и стер ее. Филипп Август воздвигает ему новую плотину. Он со всех сторон заковывает Париж в цепь толстых башен, высоких и прочных. В течение целого столетия дома жмутся друг к другу, скопляются и, словно вода в водоеме, все выше поднимают свой уровень в этом бассейне. Они растут в глубь дворов, они нагромождают этажи на этажи, карабкаются друг на друга, они, подобно сжатой жидкости, устремляются вверх, и только тот из них дышал свободно, кому удавалось поднять голову выше соседа. Улицы все более и более углубляются и суживаются; площади застраиваются и исчезают. Наконец дома перескакивают через ограду Филиппа Августа и весело, вольно, вкривь и вкось, как вырвавшиеся на свободу узники, рассыпаются по равнине. Они выкраивают в полях сады, устраиваются с удобствами.

Начиная с 1367 года город до того разлился по предместьям, что для него потребовалась новая ограда, особенно на правом берегу. Ее возвел Карл V. Но город, подобный Парижу, растет непрерывно. Только такие города и превращаются в столицы. Это воронки, куда ведут все географические, политические, моральные и умственные стоки страны, куда направлены все естественные склонности целого народа; это, так сказать, кладези цивилизации и в то же время каналы, куда капля за каплей, век за веком без конца просачиваются и где скапливаются торговля, промышленность, образование, население – все, что плодоносно, все, что живительно,

---

<sup>40</sup> Свообразное (*лат.*).

все, что составляет душу нации. Ограда Карла V разделила судьбу ограды Филиппа Августа. С конца XV столетия дома перемахнули и через это препятствие, предместья устремились дальше. В XVI столетии эта ограда как бы все больше и больше подается назад в старый город – до того разросся за нею новый. Таким образом, уже в XV веке, на котором мы и остановимся, Париж успел стереть три концентрических круга стен, зародышем которых во времена Юлиана Отступника были Гран-Шатле и Пти-Шатле.

Могучий город разорвал один за другим четыре пояса стен – так дитя прорывает одежды, из которых выросло. При Людовике XI среди этого моря домов торчали кое-где группы полуразвалившихся башен, оставшиеся от древних оград, подобно остроконечным вершинам холмов во время наводнения, подобно островам старого Парижа, затопленным приливом нового города.

С тех пор, как это ни грустно, Париж вновь преобразился; но он преодолел всего только одну ограду, ограду Людовика XV, эту жалкую стену из грязи и мусора, достойную короля, построившего ее, и поэта, ее воспевшего.

В застенке стен Париж стенает.

В XV столетии Париж был разделен на три города, резко отличных друг от друга, независимых, обладавших каждый своей физиономией, своим специальным назначением, своими нравами, обычаями, привилегиями, своей историей: Ситэ, Университет и Город. Ситэ, расположенный на острове, самый древний из них и самый незначительный по размерам, был матерью двух других городов, напоминая собою – да простится нам это сравнение – маленькую старушку между двумя стройными красавицами-дочерьми. Университет занимал левый берег Сены, от башни Турнель до Нельской башни; в современном Париже эти места соответствуют: одно – Винному рынку, другое – Монетному двору. Ограда его довольно широким полукругом вдалась в поле, на котором некогда Юлиан Отступник воздвиг свои термы. В ней находился и холм Святой Женевьевы. Высшей точкой этой каменной дуги были Папские ворота, почти на том самом месте, где ныне расположен Пантеон. Город, самая обширная из трех частей Парижа, занимал правый берег Сены. Его набережная, обрывавшаяся, вернее, прерывавшаяся в нескольких местах, тянулась вдоль Сены, от башни Бильи до башни Буа, то есть от того места, где расположены теперь Провиантские склады, и до Тюильри. Эти четыре точки, в которых Сена перерезала ограду столицы, оставляя налево Турнель и Нельскую башню, а направо – башню Бильи и башню Буа, известны главным образом под именем «Четырех парижских башен». Город вдавался в поля еще дальше, чем Университет. Высшей точкой его ограды (возведенной Карлом V) были ворота Сен-Дени и Сен-Мартен, местоположение которых не изменилось и до сих пор.

Как мы уже сказали, каждая из этих трех больших частей Парижа сама по себе являлась городом, но городом слишком узкого назначения, чтобы быть вполне законченным и обходиться без двух других. Поэтому и облик каждого из этих трех городов был совершенно своеобразен. В Ситэ преобладали церкви, в Городе – дворцы, в Университете – учебные заведения. Не касаясь в данном случае второстепенных особенностей древнего Парижа и прихотливых законов дорожного ведомства, отметим в общих чертах, основываясь лишь на примерах согласованности и однородности в этом хаосе городских судебных ведомств, что юридическая власть на острове принадлежала епископу, на правом берегу – торговому старшине, на левом – ректору. Верховная же власть над всеми принадлежала парижскому прево, то есть чиновнику королевскому, а не муниципальному. В Ситэ находился Собор Парижской Богоматери, в Городе – Лувр и Ратуша, в Университете – Сорбонна. В Городе помещался Центральный рынок, в Ситэ – госпиталь Отель-Дье, в Университете – Пре-о-Клер. Проступки, совершаемые школярами на левом берегу, разбирались на острове во Дворце правосудия и карались на правом берегу в Монфоконе, если только в дело не вмешивался ректор, знавший, что Университет

– сила, а король слаб: школяры обладали привилегией быть повешенными у себя. (Заметим мимоходом, что большая часть этих привилегий – среди них встречались и более важные – была исторгнута у королевской власти путем бунтов и мятежей. Таков, впрочем, стародавний обычай: тогда лишь король уступает, когда народ вырывает. Есть старинная грамота, где очень наивно сказано по поводу верности подданных: *Civibus fidelitas in reges quae tamen aliquoties seditionibus interrupta, multa peperit privilegia*<sup>41</sup>.)

В XV столетии Сена омывала пять островов, расположенных внутри парижской ограды: Волчий остров, где в те времена росли деревья, а ныне продают дрова; острова Коровий и Богоматери – оба пустынные, если не считать двух-трех лачуг, и оба представлявшие собой ленное владение парижского епископа (в XVII столетии оба эти острова соединили, застроили и назвали островом Святого Людовика); затем следовали Ситэ и примыкавший к нему островок Коровий перевоз, с тех пор исчезнувший под насыпью Нового моста. В Ситэ в то время было пять мостов: три с правой стороны – каменные мосты Богоматери и Менял и деревянный Мельничный мост; два с левой стороны – каменный Малый мост и деревянный Сен-Мишель; все они были застроены домами. Университет имел шесть ворот, построенных Филиппом Августом; это были, начиная с башни Турнель, ворота Сен-Виктор, ворота Борделль, Папские, ворота Сен-Жак, Сен-Мишель и Сен-Жермен. Город имел также шесть ворот, построенных Карлом V, это были, начиная от башни Бильи, ворота Сент-Антуан, ворота Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дени, ворота Монмартр, ворота Сент-Оноре. Все эти ворота были крепки и, что нисколько не мешало их прочности, красивы. Воды, поступавшие из Сены в широкий и глубокий ров, где во время зимнего половодья образовывалось сильное течение, омывали подножие городских стен вокруг всего Парижа. На ночь ворота запирались, реку на обоих концах города заграждали толстыми железными цепями, и Париж почивал спокойно.

С высоты птичьего полета эти три части – Ситэ, Университет и Город – представляли собою, каждая в отдельности, густую сеть причудливо перепутанных улиц. Тем не менее с первого взгляда становилось очевидным, что эти три отдельные части города составляют одно целое. Можно было сразу разглядеть две длинные параллельные улицы, тянувшиеся непрерывно, без поворотов, почти по прямой линии; спускаясь перпендикулярно к Сене и пересекая все три города из конца в конец, с юга на север, они соединяли, связывали, смешивали их и, неустанно переливая людские волны из ограды одного города в ограду другого, превращали три города в один. Первая из этих улиц вела от ворот Сен-Жак к воротам Сен-Мартен; в Университете она называлась улицей Сен-Жак, в Ситэ – Еврейским кварталом, а в Городе – улицей Сен-Мартен; она дважды перебрасывалась через реку мостами Богоматери и Малым. Вторая называлась улицей Подъемного моста – на левом берегу, Бочарной улицей – на острове, улицей Сен-Дени – на правом берегу, мостом Сен-Мишель – на одном рукаве Сены, мостом Менял – на другом, и тянулась от ворот Сен-Мишель в Университете до ворот Сен-Дени в Городе. Словом, под всеми этими различными названиями скрывались все те же улицы, улицы-матери, улицы-прародительницы, две артерии Парижа. Все остальные вены этого тройного города либо питались от них, либо в них вливались.

Независимо от этих двух главных поперечных улиц, прорезавших Париж из края в край, во всю его ширину, и общих для всей столицы, Город и Университет, каждый в отдельности, имели свою собственную главную улицу, которая тянулась параллельно Сене и пересекала под прямым углом обе «артериальные» улицы. Таким образом, в Городе от ворот Сент-Антуан можно было по прямой линии опуститься к воротам Сент-Оноре, а в Университете – от ворот Сен-Виктор к воротам Сен-Жермен. Эти две большие дороги, скрещиваясь с двумя упомянутыми выше, представляли собою ту основу, на которой покоилась повсюду одинаково узловатая и густая, подобная лабиринту, сеть парижских улиц. Пристально вглядываясь в сли-

<sup>41</sup> Верность граждан правителям, прерываемая, однако, изредка восстаниями, породила многие привилегии (*лат.*).

вающийся рисунок этой сети, можно было различить, кроме того, как бы два пучка, расширяющихся один в сторону Университета, другой – в сторону Города: две связки больших улиц, которые шли, разветвляясь, от мостов к воротам.

Кое-что от этого геометрального плана сохранилось и доныне.

Какой же вид представлял город в целом с высоты башен Собора Парижской Богоматери в 1482 году? Вот об этом-то мы и попытаемся рассказать.

Запахавшийся зритель, взобравшись на самый верх собора, прежде всего был бы ослеплен зрелищем расстилавшихся внизу крыш, труб, улиц, мостов, площадей, шпилей, колоколен. Его взору одновременно представились бы: резной щипец, остроконечная кровля, башенка, повисшая на углу стены, каменная пирамида XI века, шиферный обелиск XV века, круглая гладкая башня замка, четырехугольная узорчатая колокольня церкви – и большое и малое, и массивное и воздушное. Его взор долго блуждал бы, проникая в различные глубины этого лабиринта, где все было отмечено своеобразием, гениальностью, целесообразностью и красотой; все было порождением искусства, начиная с самого маленького домика с расписным и лепным фасадом, наружными деревянными креплениями, с низкой аркой двери, с нависшими над ним верхними этажами, и кончая величественным Лувром, окруженным в те времена колоннадой башен. Назовем те главные массивы зданий, которые вы прежде всего различите, освоившись в этом хаосе строений.

Прежде всего Ситэ. «Остров Ситэ, – говорит Соваль, у которого среди пустословия временами встречаются удачные выражения, – напоминает громадное судно, завязшее в тине и отнесенное ближе к середине Сены». Мы уже объясняли, что в XV столетии это «судно» было пришвартовано к обоим берегам реки пятью мостами. Эта форма острова, напоминающая корабль, поразила также и составителей геральдических книг. По словам Фавена и Паскье, только благодаря этому сходству, а вовсе не вследствие осады нормандцев, на древнем гербе Парижа изображено судно. Для человека, умеющего в нем разбираться, герб – алгебра, герб – язык. Вся история второй половины Средних веков запечатлена в геральдике, подобно тому как история первой их половины выражена в символике романских церквей. Это иероглифы феодализма, заменившие иероглифы теократии.

Итак, первое, что бросалось в глаза, был остров Ситэ, обращенный кормою на восток, а носом на запад. Став лицом к носу корабля, вы различали перед собой бесчисленный рой старых кровель, над которыми широко круглилась свинцовая крыша Сент-Шапель, похожая на спину слона, отягощенного своей башенкой. Но здесь этой башенкой был самый дерзновенный, самый отточенный, самый филигранный, самый прозрачный шпиль, сквозь кружевной конус которого когда-либо просвечивало небо. Перед Собором Парижской Богоматери со стороны паперти расстилалась великолепная площадь, застроенная старинными домами, с вливающимися в нее тремя улицами. Южную сторону этой площади осенял весь изборожденный морщинами, угрюмый фасад госпиталя Отель-Дье с его словно покрытой волдырями и бородавками кровлей. Далее направо, налево, к востоку, к западу в этом сравнительно тесном пространстве Ситэ вздымались колокольни двадцати одной церкви различных эпох, разнообразных стилей, всевозможных размеров, начиная от приземистой и источенной червями романской колоколенки Сен-Дени-дю-Па, *career Glaucini*, и кончая тонкими иглами церковей Сен-Пьер-о-Беф и Сен-Ландри. Позади Собора Парижской Богоматери на севере раскинулся монастырь с его готическими галереями; на юге – полуроманский епископский дворец; на востоке – пустынный мыс Терэн. В этом нагромождении домов можно было различить, по его высоким каменным ажурным навесам, украшавшим в ту эпоху все, даже слуховые окна дворцов, особняк, поднесенный городом в дар Ювеналу Дезюрсену при Карле VI; чуть подальше – просмоленные балаганы рынка Палюс; еще дальше – новые хоры старой церкви Сен-Жермен, удлиненные в 1458 году за счет улицы Фев; а еще дальше – то кишачий народом перекресток, то воздвигнутый на углу улицы вращающийся позорный столб, то остаток прекрасной мостовой Филиппа Августа

– великолепно вымощенную посреди улицы дорожку для всадников, так неудачно замененную в XVI веке жалкой булыжной мостовой, именовавшейся «Мостовою Лиги», то пустынный внутренний дворик с одной из тех сквозных башенок, которые пристраивались к дому для внутренней винтовой лестницы, как это было принято в XV веке и образец которых еще и теперь можно встретить на улице Бурдоне. Наконец, вправо от Сент-Шапель, к западу, на самом берегу реки, разместилась группа башен Дворца правосудия. Высокие деревья королевских садов, разбитых на западной оконечности Ситэ, застилали от взора островок Коровьего перевоза. Что касается воды, то с башен Собора Парижской Богоматери ее почти вовсе не было видно ни с той, ни с другой стороны: Сена скрывалась под мостами, а мосты под домами.

И если вы, минуя эти мосты, застроенные домами с зелеными кровлями, преждевременно заплесневелыми от водяных испарений, обращали взор влево, к Университету, то прежде всего вас поражал большой приземистый сноп башен Пти-Шатле, разверстые ворота которого, казалось, поглощали конец Малого моста; если же ваш взгляд устремлялся вдоль берега с востока на запад, от башни Турнель до Нельской, то перед вами длинной вереницей бежали здания с резными балками, с цветными оконными стеклами, с нависшими друг над другом этажами – нескончаемая ломаная линия островерхих кровель, то и дело перегрызаемая пастью какой-нибудь улицы, обрываемая фасадом или углом какого-нибудь большого особняка, непринужденно развернувшегося своими дворами и садами, крылами и корпусами среди этого сборища теснящихся, жмущихся друг к другу домов, подобно знатному барину среди деревенщины.

Таких особняков на набережной было пять или шесть, начиная от особняка де Лорен, разделившего с бернардинцами большое огороженное пространство по соседству с Турнель, и до особняка Нель, главная башня которого была рубежом Парижа, а остроконечные кровли три месяца в году прорезали своими черными треугольниками багряный диск заходящего солнца.

На этом берегу Сены было меньше торговых заведений, чем на противоположном; здесь толпились и шумели скорее школяры, нежели ремесленники, и, в сущности, набережной в настоящем смысле этого слова служило лишь пространство, идущее от моста Сен-Мишель до Нельской башни. Остальная часть берега Сены была либо оголенной песчаной полосой, как по ту сторону владения бернардинцев, либо скопищем домов, подступавших к самой воде, между обоими мостами. Здесь постоянно слышался оглушительный гвалт прачек; с утра до вечера они кричали, болтали и пели вдоль всего побережья и звучно колотили вальками, как и в наши дни. Это был веселый уголок Парижа.

Университетская сторона казалась сплошной глыбой. Из конца в конец это была однородная и плотная масса. Тысячи частых остроугольных, сросшихся, почти одинаковых по форме кровель казались с высоты кристаллами одного и того же вещества. Прихотливо извивавшийся ров улиц разрезал на почти пропорциональные ломти этот пирог домов. Сорок два коллежа Университетской стороны были расположены довольно равномерно и заметны были повсюду. Разнообразные и забавные коньки крыш всех этих прекрасных зданий были произведением того же самого искусства, что и скромные кровли, над которыми они возвышались; в сущности, они были не чем иным, как возведением в квадрат или в куб той же геометрической фигуры. Итак, они лишь усложняли целое, не нарушая его единства; дополняли, не обременяя его. Геометрия – это та же гармония. Над живописными чердаками левого берега там и сям величественно выступало несколько прекрасных особняков: ныне исчезнувшие Неверское подворье, Римское подворье, Реймское подворье и особняк Ключи, существующий еще и до сих пор на радость художникам, хотя и без башни, которой его так безрассудно лишили несколько лет назад. Здание романского стиля, с прекрасными сводчатыми арками, возле Ключи – это термы Юлиана. Здесь было также множество аббатств более смиренной красоты, более суровой величавости, но не менее прекрасных и не менее обширных. Из них прежде всего останавливали внимание: Бернардинское аббатство с тремя колокольнями; монастырь Святой Женевьевы,

уцелевшая четырехугольная башня которого заставляет так сильно сожалеть об остальном; Сорбонна, полушкола, полумонастырь, от которого сохранился еще столь изумительный неф; красивый, квадратной формы монастырь матюринцев; его сосед, монастырь бенедиктинцев, в ограду которого за время, протекшее между седьмым и восьмым изданием этой книги, на скорую руку успели втиснуть театр; Кордельерское аббатство с тремя громадными, высящимися рядом пиньонами; Августинское аббатство, изящная стрелка которого поднималась на западной стороне этой части Парижа, вслед за Нельской башней. В ряду этих монументальных зданий коллежи, являющиеся, собственно говоря, соединительным звеном между монастырем и миром, по суровости, исполненной изящества, по скульптуре, менее воздушной, чем у дворцов, и архитектуре, менее строгой, чем у монастырей, занимали среднее место между особняками и аббатствами. К сожалению, теперь почти ничего не сохранилось от этих памятников старины, в которых готическое искусство с такой точностью перемежало пышность и умеренность. Над всем господствовали церкви (они были многочисленны и великолепны в Университете и также являли собою все эпохи зодчества, начиная с полукруглых сводов Сен-Жюльена и кончая стрельчатыми арками Сен-Северина); как еще один гармонический аккорд, добавленный ко всему хору созвучий, они то и дело прорывали сложный узор пиньонов резными шпильями, сквозными колокольнями, тонкими иглами, линии которых были лишь великолепным и преувеличенным повторением остроугольной формы кровель.

Университетская сторона была холмистою. Холм Святой Женевьевы на юго-восточной стороне вздувался, как огромный пузырь, и любопытное зрелище с высоты Собора Парижской Богоматери являло собою это множество узких и извилистых улиц (ныне Латинский квартал), эти грозди домов, разбросанных по всем направлениям на его вершине и в беспорядке, почти отвесно устремляющихся по его склонам к самой реке: одни, казалось, падают, другие карабкаются вверх, а все вместе – цепляются друг за друга. От непрерывного потока тысяч черных точек, движущихся на мостовой, так и рябило в глазах – это кишела толпа, еле различимая с такой высоты и на таком расстоянии.

Наконец, в промежутках между этими кровлями, шпильями и выступами несчетного множества зданий, столь причудливо изгибавших, закручивавших и зазубривавших линию границы Университетской стороны, местами проглядывали часть толстой замшелой стены, массивная круглая башня, зубчатые городские ворота, изображавшие крепость, – то была ограда Филиппа Августа. За ней зеленели луга, убегали дороги, вдоль которых тянулись последние дома предместий, все более и более редевшие, по мере того как они удалялись от города.

Некоторые из этих предместий имели довольно важное значение. Таково, например, начиная от Турнель, предместье Сен-Виктор с его одноарочным мостом через Бьевр, с его аббатством, в котором сохранилась эпитафия Людовика Толстого – *epitaphium Ludovici Grossi*, с церковью, увенчанной восьмигранным шпилем, окруженным четырьмя колоколенками XI века (такой же точно можно видеть и до сих пор в Этампе, его еще не разрушили); далее – предместье Сен-Марсо, уже имевшее в то время три церкви и один монастырь; еще дальше, оставляя влево четыре белые стены мельницы Гобеленов, можно увидеть предместье Сен-Жак с чудесным резным распятием на перекрестке; потом – церковь Сен-Жак-дю-Го-Па, которая в то время была еще готической, остроконечной, прелестной; церковь Сен-Маглуар XIV века, прекрасный неф которой Наполеон превратил в сеновал; церковь Нотр-Дам-де-Шан с византийской мозаикой. Наконец, минуя стоящий в открытом поле картезианский монастырь – роскошное здание, современное Дворцу правосудия, с множеством палисадничков, – и пользующиеся дурной славой руины Вовера, глаз встречал на западе три романские стрелы церкви Сен-Жермен-де-Пре. Позади этой церкви начиналось Сен-Жерменское предместье, бывшее в то время уже большой общиной и состоявшее из пятнадцати-двадцати улиц. Один из углов предместья был отмечен островерхой колокольней Сен-Сюльпис. Тут же рядом можно было разглядеть четырехстенную ограду Сен-Жерменской ярмарочной площади, где

ныне расположен рынок; затем – вертящийся позорный столб, принадлежавший аббатству, эту красивую круглую башенку под свинцовым конусообразным куполом; еще дальше – черепичный завод и Пекарную улицу, ведущую к общественной хлебопекарне, мельницу на пригорке и больницу для прокаженных – изолированный домик, которого сторонились. Но что особенно привлекало взор и надолго приковывало к себе – это самое аббатство Сен-Жермен. Этот монастырь, производивший внушительное впечатление и как церковь, и как господское поместье, этот дворец духовенства, в котором парижские епископы считали за честь провести хотя бы одну ночь, его трапезная, которая благодаря стараниям архитектора по облику, красоте и великолепию окну-розетке напоминала собор, изящная часовня Богородицы, огромный спальный покой, обширные сады, опускная решетка, подъемный мост, зубчатая ограда на зеленом фоне окрестных лугов, дворы, где среди отливающих золотом кардинальских мантий сверкали доспехи воинов, – все это сомкнутое и сплоченное вокруг трех высоких романских шпилей, прочно покоившихся на готическом своде, вставало на горизонте великолепной картиной.

Когда наконец, вдоволь насмотревшись на Университетскую сторону, вы обращались к правому берегу, к Городу, панорама резко изменялась. Город, хотя и более обширный, чем Университет, не представлял такого единства. С первого же взгляда нетрудно было заметить, что он распадается на несколько совершенно обособленных частей. Та часть Города на востоке, которая и теперь еще называется «болотом» (в память о том болоте, куда Камулоген завлек Цезаря), представляла собою скопление дворцов. Весь этот квартал тянулся до самой реки. Четыре почти смежных особняка – Жуи, Сане, Барбо и особняк королевы – отражали в водах Сены свои шиферные крыши, прорезанные стройными башенками. Эти четыре здания заполняли все пространство от улицы Нонендьер до аббатства целестинцев, игла которого изящно оттеняла линию их зубцов и коньков. Несколько позеленевших от плесени лачуг, нависших над водой перед этими роскошными особняками, не мешали разглядеть прекрасные линии их фасадов, их широкие квадратные окна с каменными переплетами, их стрельчатые портики, уставленные статуями, четкие грани стен из тесаного камня и все те очаровательные архитектурные неожиданности, благодаря которым кажется, будто готическое зодчество в каждом памятнике прибегает к новым сочетаниям. Позади этих дворцов, разветвляясь по всем направлениям, то в продольных пазах, то в виде частокола и вся в зубцах, как крепость, то прячась, как загородный домик, за раскидистыми деревьями, тянулась бесконечная причудливая ограда того удивительного дворца Сен-Поль, в котором могли свободно и роскошно разместиться двадцать два принца королевской крови, таких как дофин и герцог Бургундский, с их слугами и с их свитой, не считая знатных вельмож и императора, когда тот посещал Париж, а также львов, которым были отведены особые палаты в этом королевском дворце. Заметим, что в то время помещение царственной особы состояло не менее чем из одиннадцати покоев, от парадного зала и до молельной, не считая галерей, бань, ванн и иных относящихся к нему «подсобных» комнат; не говоря об отдельных садах, отводимых для каждого королевского гостя; не говоря о кухнях, кладовых, людских, общих трапезных, задних дворах, где находились двадцать два главных служебных помещения, от хлебопекарни и до винных погребов; не говоря о залах для разнообразных игр – в шары, в мяч, в обруч, о птичниках, рыбных садках, зверинцах, конюшнях, стойлах, библиотеках, оружейных палатах и кузницах. Вот что представлял собою тогда королевский дворец, будь то Лувр или Сен-Поль. Это был город в городе.

С той башни, на которой мы стоим, дворец Сен-Поль, полузакрытый от нас четырьмя только что упомянутыми большими зданиями, был еще очень внушителен и представлял собой чудесное зрелище. В нем легко можно было различить три особняка, которые Карл пристроил к своему дворцу, хотя они и были искусно связаны с главным зданием при помощи ряда длинных галерей с расписными окнами и колонками. Это были: особняк Пти-Мюс с резной балюстрадой, изящно окаймлявшей его крышу; особняк аббатства Сен-Мор, имевший вид крепости, с массивной башней, бойницами, амбразурами, небольшими железными бастионами и гербом

аббатства на широких саксонских воротах, между двух выемок для подъемного моста; особняк графа д'Этампа, с разрушенной вышкой круглой замковой башни, зазубренной, как петушиный гребень; местами три-четыре вековых дуба образовывали там купы, наподобие огромных кочанов цветной капусты; в прозрачных водах сажалок, переливающихся светом и тенью, глаз подмечал вольные игры лебедей; а дальше – множество дворов, живописную глубину которых можно было разглядеть; Львиный дворец с низкими сводами на приземистых саксонских столбах, с железными решетками, из-за которых постоянно слышалось рычание; над всем этим вздымалась чешуйчатая стрела церкви Благовещения. Слева находилось жилище парижского прево, окруженное четырьмя тончайшей резьбы башенками. В середине, в глубине, находился сам дворец Сен-Поль со всеми его размножившимися фасадами, с постепенными приращенными со времен Карла V, этими смешанного стиля наростами, которыми в продолжение двух веков обременяла его фантазия архитекторов, со сводчатыми алтарями его часовен, коньками его галерей, с тысячей флюгеров на все четыре стороны и двумя высокими смежными башнями, конические крыши которых, окруженные у основания зубцами, напоминали островерхие, с приподнятыми полями шляпы.

Продолжая подниматься ступень за ступенью по этому простирающемуся в отдалении амфитеатру дворцов и преодолев глубокую лощину, словно вырытую среди кровель Города и обозначавшую улицу Сент-Антуан, ваш взор достигал наконец Ангулемского подворья – обширного строения, созданного усилиями нескольких эпох, в котором новые незапятнанной белизны части столь же мало шли к целому, как красная заплата к голубой мантии. Тем не менее до странности остроконечная и высокая крыша нового дворца, щетинившаяся резными желобами, покрытая свинцовыми полосами, на которых тысячей фантастических арабесок вились искрящиеся инкрустации из позолоченной меди, – эта крыша, столь своеобразно изукрашенная, грациозно возносилась над бурными развалинами старинного дворца, толстые башни которого, раздувшиеся от времени, словно бочки, осевшие от ветхости и треснувшие сверху донизу, напоминали толстяков с расстегнувшимися на брюхе жилетами. Позади этого здания высился лес стрел дворца Ла-Турнель. Ничто в мире, ни Альгамбра, ни Шамборский замок, не могло представить более волшебного, более воздушного, более чарующего зрелища, чем этот высокоствольный лес стрел, колоколенок, дымовых труб, флюгеров, спиральных и винтовых лестниц, сквозных, словно изрешеченных пробойником бельведеров, павильонов, веретенообразных башенок, или, как их тогда называли, «вышек» всевозможной формы, высоты и расположения. Все это походило на гигантскую каменную шахматную доску.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.